

Одиннадцатый час

*Когда же наступил вечер, говорит Господин
виноградника управителю своему:
позови, работников и отдай им плату,
начав с последних до первых.
И пришедшие около одиннадцатого
часа получили по динарию.*

Евангелие от Матфея
Гл. 20, ст. 8-9

Есть два типа идеальных убийств. Первый – это те, которые заранее не планировались. Что проще: познакомились на улице; человек приятный оказался, душевный. На скамейке пива попили, холодно стало, решили к нему заскочить. Не всухую же сидеть – по дороге в магазин завернули. Жена знакомца с тремя малыми детьми у тещи в деревне, квартира пустая. Еще посидели, поговорили, и оказалось, что не такой уж он и приятный, каким, гад, прикидывался. Он тебе – Россия, мать твою, Третий Рим, а ты ему – не фи́га не Рим, она не Третий, а третьего мира страна. Ему за державу стало обидно, он ее решил отстаивать. С оружием в руках. А оно тут как тут – вы ж колбасу только что резали. Но ты ловчей оказался: мракобеса порешил, с лестницы кубарем скатился – и бежать, куда ноги несут... А уж ночь давно, темень, никто тебя не видел... И это – «глухарь». Если совесть есть – можешь до гробовой доски мучиться, а если нет – радоваться, что концы в воду. В местной газете статью пропечатают: «После совместного распития спиртных напитков... Неизвестным собутыльником... Ведется следствие...». Ты, еще, может, хмыкнешь: «Ведите-ведите...».

Совсем другое дело – преступление тщательно продуманное, спланированное до мелочей. И, если ты не аллигатор преступного мира, а просто решил чуть-чуть исправить несправедливое отношение к тебе злодейки-жизни, убрав из нее явно лишнюю особь, то тебя вычислят непременно.

Ты ведь полный дурак, дорогой мой убийца, особенно, если из интеллигентов: чем сложнее наворотишь – тем легче тебя изловить, голубчика. Ты ведь существо впечатлительное и, совершив преступление, пожалуй, тут же, на месте, и закуришь. Да еще какой-нибудь уникальный сорт папирос, которые станешь давить в пепельнице эдак по-своему, по-хитрому. А потом, когда следователь, ничего не подозревая, будет ласково тебя допрашивать, в его кабинете рассеянно закуришь те же самые... А если ты женщина, то фильтр еще и помадой обмажешь – особенной, морковной.

Кроме того, незадачливые душегубы роняют рядом с жертвой волосы, перчатки, обрывки записок, оставляют четкие следы обуви, которую долго и бережно хранят, стирают отпечатки пальцев отовсюду, но только не с орудия убийства, ухитряются даже оставить в живых свидетеля – говорящего попугая – и доверчиво сообщают ему свое имя. Убегая от возмездия, такие злодеи еще помогут старушке-соседке вкатить в лифт тележку и хорошо, если не забудут при этом стащить с головы черный чулок. А сам лифт – преграда для них неодолимая: они почти непременно там застрянут – до прихода милиции – а если и доберутся чудом до своей машины, то уж позаботятся о том, чтобы кто-нибудь сверхсознательный успел записать номера.

Помилуйте, а способы? Травят подотчетным ядом, украденным с собственного рабочего места. Стреляют из на себя зарегистрированного пистолета – и нет бы его выбросить в ближайшую канаву – так ведь в кармане таскают! Душат своим ремнем, забывают его на шее удавленника, после чего гордо удаляются, ежесекундно подтягивая брюки. И это все – за год продумав навязшее на зубах «алиби», точно рассчитав время по

секундам, проявив инженерный гений при подготовке экипировки... Нет никого обреченнее непрофессионального убийцы.

Но вот еще один способ выйти сухим из воды: если все улики указывают на тебя. Указывают абсурдно до нелепости, указывают до такой степени, что ты – уважаемый, уравновешенный, с ученой степенью – выглядишь узкоглазым имбецилом, каким не являешься. А главное – у тебя нет мотива. И вот уже соvestливый молодой следователь краснеет перед разъяренным начальством и шепчет:

- Я разобраться хочу, товарищ полковник... Уж слишком явно.. Не бывает так... Умный человек, ученый, не допустил бы столько промахов... Один-два – я поверил бы! Но пятнадцать! Да и зачем ему это?! Зачем?!

- Да с чем тут разбираться! – грохочет, наливаясь кровью, полковник. – Дело ясное, как на ладони! Оформляй, ядрить-твою... Передавай!

Умудренный полковник. Но старший лейтенант смело вскидывает честные глаза (прямой, открытый взгляд, комсомольская непреклонность):

- Не... Не буду! Я... Я докажу!

- Двое суток даю. Умник! – свирепеет начальство. – Молоко на губах не... А туда же... Детективов начитался... Заграничных... Двое суток!

- Так точно, товарищ полковник! – радостно вытягивается недавний выпускник Академии.

И он докажет. Будь уверен – он докажет, что ты невиновен. Он не двое суток – он жизнь свою на это положит – ради справедливости...

А я знаю одно еще более идеальное убийство. И совершила его именно я.

Вот, перечитала начало письма – и испугалась: поймете ли Вы? Не поморщитесь ли, приняв за «ерничество» – иначе действительно, зачем превращать трагедию в гротеск? Откуда, спросите себя Вы, все это в женщине, которая никогда уже... Вы думаете, я не знаю? Вы всерьез считаете, будто я верю, что хронический бронхит лечат в онкологическом диспансере? Ах, мою бдительность, конечно, усыпили. Словно нехотя, словно я вырвала нечаянно тайну, по секрету сообщили, что там, где-то глубоко внутри, возможна опухоль. О, это, разумеется, неточно: вот они погасят очаг бронхита, и тогда – может быть! – ее обнаружат и вылечат (она ведь, само собой, маленькая, с горошину, а в доброкачественности – кто же сомневается?).

У меня рак, дорогой друг, если Вы еще этого не знаете. Неоперабельный – иначе меня давно бы прооперировали. Вместо пятидесятого размера у меня теперь сорок четвертый. Немеет половина тела поутру, и особенно – когда я стою под душем. Они говорят мне, что это сосуды – совсем, что ли, за идиотку меня держат? Нет, видно, врачебный постулат «больной – идиот» – вечен. А если уж слишком явно видно, что больной *не* идиот, тогда он больной «трудный».

Итак, давайте договоримся с Вами: раз я сама себя не щажу – и Вы меня не щадите. Когда придете, и мы сядем с вами на той нашей скамейке под окном лаборатории, где так воняет дерьмом из форточки, Вы не будете меня убеждать в моей неправоте. Чудные откровения могут возникнуть между людьми, принявшими за аксиому, что один из них скоро умрет. Одному бояться нечего, что его выдадут: собеседник все равно собрался туда, где и без него всё знают, а другому абсолютно безразлично, что подумают о нем здесь, где не знают ничего; а он еще оттуда, из места всеобщего знания, над ними посмеется. Если только это будет иметь для него хоть какое-то значение. Только не говорите мне, что я еще сто лет проживу и успею сделать много добрых дел – иначе я Вам и писать, и верить перестану...

Была одна книга (а может, мне кажется, что была, и просто кто-то собрался ее написать да не вытянул) – «Дневник женщины, которую никто не любил». Счастливица! Меня не любили не только как женщину, а вообще – никак. Возможно мама, но только до трех лет, пока не родилась Ленусик. Мать рассказывала потом (не мне, конечно, тому же Ленусику), как, привезя из роддома, ее положили почему-то на диван – такой толстый сверток с розовыми бантами, где всегда больше одеял, чем младенца.

Доживал у нас тогда старый пудель Леон. Чуткий и умный, насколько может быть таковой собака. Не дряхлый еще, но уже исполненный старческого достоинства, утративший врожденную пуделиную резвость – переставший бегать, то есть летать на ушах-крыльях, а (смутно помню) чинно шагавший на прогулках между лужами. И вот, тихий, как полено, сверток, до которого Леон по-первости и не снизошел, вдруг издал, как я понимаю, отвратительный крысиный писк. Мама, конечно, сказала, что это был серебряный колокольчик. И тогда Леон неожиданно...

- Ирина Викторовна, температуру мерить!

Женщина вздрогнула и обернулась:

- Давайте.

Молоденькая сестричка в крахмальном колпаке робко шагнула и протянула больной градусник, а потом тихо отступила назад, прикидывая, спросить ли бодро: «Ну, как чувствуем себя сегодня?» или сразу ретироваться, чтоб не нарваться. Она, может, всего секунду и помедлила, но уже прозвучал металлический голос:

- Ну, и что вы здесь хотите выстоять?

Девушка бросилась за дверь, едва не хлопнув ею, но, вовремя спохватившись, осторожно ее прикрыла.

Больную эту в отделении ненавидели все – от заведующей до младшей санитарки. Не то чтобы больная была скандальная, из тех, что изводят персонал придирками или истериками. Таких можно окоротить, даже голос повысить, пригрозить выпиской – словом, поставить на место. Но эта была, определенно, хуже. Она не капризничала, не закатывала сцен, а только как вскинет на кого тяжелый тусклый взгляд — у жертвы и сердце захолонет. Ничего не было в ней пришибленно-умоляющего, мол, что хотите со мной делайте, только скажите, что у меня не рак. Вопросов лишних не ставила, но на те, что задавали ей, отвечала жестко, точно, не односложно, но и без излишних подробностей, а в тоне чувствовалась нескрываемая вражда.

Считается у врачей – так внушали больным и в их отделении – что врач и больной должны стать союзниками против общего врага – лютой болезни. Но Ирина Викторовна байки этой не признавала, и лечащему врачу порой казалось, что по эту сторону баррикады – он один, а по другую – больная в тесном содружестве со своей болезнью, словно сговорившись с ней вдвоем его, врача, доконать. Ровно и терпеливо обещал он на утреннем обходе, что она еще допьет вот эти, а потом он назначит те, а в инъекциях дозу увеличит, да еще назначит другие – и тогда, он уверен, Ирину Викторовну вылечит. Но вместо обычного молящего взгляда – «Правда вылечите, доктор?» – он ясно читал в ее непреклонных глазах: «Ан нет, не вылечишь!» – читал и терялся. Потому что знал, что вылечить нельзя: рак намертво захватил в свои клешни ее худое тело, прочно обжился в организме, дав метастазы в печень, позвоночник и в некоторые лимфоузлы — и ничто не могло приостановить это победное шествие.

Если врачи перед Ириной Викторовной терялись, то медсестры откровенно побаивались ее. Больная обращалась с ними как с нерадивой прислугой: делала резкие выговоры и жестко одергивала. Это не входило в разряд пустых придирок, все замечания давались по существу – так что жаловаться было не на что, и сестры смирились бы, если б не повадка – а больная имела повадку власть имущей.

Приходилось терпеть – терпеть потому, что лежала она в отдельной коммерческой палате, за которую платила немалые деньги, а в отделении, как и во всем диспансере, существовало негласное твердое правило: шугать можно только бесплатных, то есть бесправных, особенно тех, что лежат в коридорах, коммерческим же подобает вежливое, осторожное отношение. Люди они богатые, происхождение денег неизвестно; выскажешь такому что-нибудь от сердца, глядишь – а на следующий день ты уже безработный, а то и просто тебе в твоей же парадной морду начистили.

Полгода вспоминали в отделении об одном происшествии.

Лежала в такой же палате тихонькая старушка. Сын к ней приходил – ласковый и почтительный. Все бы хорошо, да старушка, повадилась ходить под себя по шесть-восемь

раз на дню. Шесть-восемь раз ее мыли и переодевали, терпеливо указывая на кнопочку в стенке: нажмите, мол, тут, мамаша, и вам судно принесут. Но «мамаша» кнопку упорно не замечала, хотя не была в маразме и не страдала недержанием. Почему – кто разберется! Однажды новенькая сестричка не выдержала и не то чтобы нагрубилась, а просто запричитала громче, чем следует: «Да что ж это такое! Вы слова русские понимаете или нет?! Вы что – кнопку не видите?! Вам что – руку не поднять? У нас, думаете, дел других нет, кроме как ваши экскременты выносить?! Вот еще раз сделаете так – и до ночи в грязном пролежите! Может, тогда научитесь...».

В тот же день, когда девушка возвращалась с работы (кстати, по оживленной улице), рядом с тротуаром тихо тормознул «мерседес». Очень быстро и слаженно девушка была втащена внутрь – так, что даже испугаться не успела. На заднем сиденье расположился почтительный сынок больной старушки. Сестричка только рот открыла, но слов уже не было. Она услышала:

- Хамить, кажется, на рабочем месте изволите, сестрица? Нехорошо, милая, нехорошо... Хамство — мать всех пороков... Но вы больше не будете. Это я вам обещаю...

И она больше правда никогда не хамила. А только радовалась, что дешево отделалась: всего месяц провалялась на больничном после того, как «скорая» подобрала ее далеко за городом, где начинались капустные поля... Более того, это послужило уроком вежливости для всего отделения.

Вот и сейчас маленькая Олечка, тихо прикрывая дверь, прикусила губку: обидно, конечно, но нужно терпеть.

- Что, опять? – подошла к ней дежурная с другого поста.

- Хоть бы померла скорей, – всхлипнула Олечка. – Вроде, и особенного ничего, а житья нет. Как найду к ней в палату, весь вечер потом работа из рук валится...

- Не бери в голову, – посоветовала коллега. – На всех обижаться – нервов не хватит.

- Да-а, а мне еще градусник у нее забирать, уколы делать и таблетки давать... Хоть бы она ими подавилась! – переживала Оля.

Со всеми другими больными, общительная и добрая от природы, она непременно находила контакт, случалось, доверительно болтала «за жизнь», во всяком случае, устанавливала добрые отношения. Но эта женщина с узким желтым лицом, сурово поджатыми губами, с аккуратным узлом некрашенных и оттого неопределенно серых волос казалась недоступной для живого человеческого общения. Она не то что ушла, а словно бы умерла в себя: никого не подпускала, тем более не допускала или, еще хуже, не снисходила. И хоть бы равнодушие! Читался порой в ее взгляде глубоко загнанный внутри интерес – будто выжидала чего-то или даже, припав, как смертельно раненный хищник, готовилась к последнему роковому прыжку...

...взметнулся – другого слова нет. Он завертелся по комнате, растерянно тычась то матери, то отцу в колени, и кружил, взвизгивая и поскуливая, пытаясь донести до хозяев то, что они, должно быть, еще не знали: там – живое! живое – там!

Через неделю Леона усыпили: мать не смогла вынести страшное зрелище шерстяной озабоченной морды, вечно просунутой сквозь прутья детской кровати. Ей все виделись мириады смертоносных микробов, так и сигавших с собачьего носа на беззащитное грудное дитя.

Но меня усыпить было нельзя – меня погубили иначе. Спустя лет примерно семь мне удалось подслушать разговор матери и ее подруги – они делились за чашечкой кофе впечатлениями о своих детях. Тогда я узнала, что «когда родилась Маленькая, и мы привезли ее домой, я вдруг увидела Ирину – ее как раз няня привела с прогулки. Как меня тогда это потрясло – ты не представляешь! Я увидела, что Ирина – это же слоненок! Ей три года тогда исполнилось. Но, пока не было Ленусика, мне и в голову не приходило, что она такая большая, честное слово! Это просто откровение какое-то было!».

Но на самом деле пора откровений настала для меня. С того дня ни одна живая душа на свете не назвала меня больше не только Ирочкой, Иришей, но даже просто Ирой. Я

превратилась в Ирину пожизненно, и с какого-то невнятного момента добавилось «Викторова» – но до этого прошло много черных лет моего детства и юности.

Из самой необозримой дали, из тех дней, когда я еще не поняла, что меня никто не любит и не полюбит никогда, доносится лишь взвинченное материнское:

- Ирина, не прикасайся к Маленькой! Она такая хрупкая, ты ей что-нибудь повредишь!

- Ирина, не подходи кровати с невымытыми руками!

- Ирина, не дыши Маленькой в личико: ты ее чем-нибудь заразишь!

Да, это из тех незамутненных лет, когда я, дура мослатая, еще любила Ленусика. Когда я еще гордилась тем, что я, «большая» и «старшая», теперь вместе с другими «большими», но только «взрослыми» могу заботиться о крошечном человеческом росточке, лелеять] его, быть по-серьезному полезной...

Вот, помню, Маленькую собираются поить из бутылочки с соской. Я торжественно беру ее в руки и осторожно несу маме...

- Что ты хватаешь бутылку грязными лапами?! Она должна быть стерильной, придурковатая девка!

Придурковая девка трех с половиной лет в ступоре ужаса застывает посреди комнаты, пальцы ее немеют и разжимаются...

- Няня-а! Няня-а! Сил моих нет, уберите отсюда эту кретинку! Она чуть не угробила Маленькую!!

«Ничего-ничего», – успокаивала я себя лет в шесть. – «Ленусик скоро вырастет и тоже станет «большая». И тогда мама-с-папой полюбят меня обратно».

Страшная, роковая ошибка: Ленусик не выросла никогда. Мне было шесть, а ей три, мне десять, а она только пошла в школу, мне пятнадцать, а ей двенадцать и она болеет корью; мне восемнадцать, и уже я болею scarlatina, и пятнадцать свечей торчат в одиноком торте, который мне не попробовать, потому что и ложку воды не проглотить...

Я навсегда – Ирина. С длинной лошадиной мордой, украшенной, к тому же, безобразными очками с толстыми стеклами; у меня несообразно огромные кисти и ступни, а сама я маленькая, и потому кажется, что я вечно ковыляю в одних лапах и размахиваю другими, всегда сокрушая что-то по дороге.

А Ленусик — навечно Маленькая. Она и родилась-то на свет идеальным младенцем, таким и умерла в тридцать семь лет, ко всем успев приласкаться и сознательно ни разу не причинив зла... Ее принесли из роддома кудрявую – и кудряшки не вылезли, как положено, а со временем превратились в чудесные пшеничные локоны. Синие, как у всех новорожденных, глаза так и не посерели и не покоричневели, а остались наивно-ультрамариновыми и обросли, к тому же, густыми угольными ресницами, ни разу в жизни не потребовавшими краски; румянец как зацвел однажды – так и погас лишь за неделю до смерти – и это несмотря на то, что рак, скосивший до того почти всю нашу семью, вцепился в нее рано, сожрал изнутри – но снаружи тронуть не посмел...

Красавица? Нет. Личико было, в общем, неправильное, ротик маленький (правда, мило надутый), носик излишне тонковат. Но все компенсировалось гармоничной резвостью, ничуть не напоминавшей моего бессильного, неэстетичного, угловатого редкого веселья. Вся Ленусик была – солнечный лучик, радующий без разбора и праведника и подонка...

Двухголовое чудище по имени «Мама-с-Папой», к которому я не знала, с какой стороны и подступиться, для Маленькой чудесно разделилось на «Мамусика» и «Папусика», и она умильно ластилась к обоим, горячо и нежно лепеча и сюсюкая – и так всю их жизнь.

Ах, как она умела вышивать и щебетать, играть и тараторить! Глазки да лапки, лапки да глазки – не налюбуетесь!

Вижу, друг мой, как Вы раздражаетесь, но так как Вы человек добрый, то внутренне уже ищите мне оправданий: детская ревность, сама никогда не была матерью, не может оценить...

Бросьте, мне оправданий нет. Положим, в детстве-то я понять не могла, но ведь позже обязана была – одуматься! Ведь если дети начнут судить своих родителей – так судить! –

то куда же придет человечество? Не беспокойтесь, я очень благодарна им. Что не усыпили, как Леона, или проще – не утопили в ведре, как котенка, в живых оставили! И дали мне возможность вкусить прелести умирания в онкодиспансере... Вы уже возмущаетесь? Еще несколько сценок не желаете ли? «Довольно-довольно, я все понял: несчастное детство...». Ничего, вот вам для полноты впечатления. Сцена: две смежные комнаты (проходная, конечно, моя – разве можно тревожить Маленькую?). Время действия: раннее утро.

Дверь в палату приоткрылась, и в щель деликатно просунулся колпак сестры Оли.

- Третий час ночи, Ирина Викторовна... Не положено... Может, снотворного вам принести? – почти взмолилась она.

Трудная больная, до того быстро писавшая в зеленой тетрадке, сидя поперек кровати, мрачно посмотрела в ее сторону:

- Не беспокойтесь. Дадут. Не в эту ночь, так в следующую. И – «ты заснешь надолго, Моцарт...».

Она была права, и Оля это хорошо знала, хотя ни на эту, ни на следующую ночь не надеялась: врач сказал, что еще недели две, а потом – на наркотики. Кроме того, добрая сестричка считала, что это варварство – обреченному больному давать еще и снотворное; ему и так жизни осталось с гулькин нос, и он же две трети этого носа должен проспать. Но больному же такого не скажешь – приходится опять бормотать:

- Не положено. Свет после отбоя... Нужно спать. А если не спится – пить снотворное.

Но больная в который раз показала зубы

- Я за свои деньги могу хотя бы умереть как мне нравится?! – сурово спросила она.

В таких случаях отвечать полагалось следующее: «Как вы може те так говорить? Кто вам сказал, что вы умрете? Здесь вас лечат. И – вылечат. А для этого нужно...». И далее – про режим, про союз с врачом, и все в таком духе. Оля представила, как все это будет жалко звучать и лишь выдавила:

- А только вот свет... После отбоя... – и под тяжелым взглядом попятилась в темноту коридора.

Ирина отложила свою зеленую тетрадку и сползла на пол. Осторожно выпрямилась – и так осталась стоять посреди палаты, прислушиваясь к тайным сигналам изнутри тела. Боли как таковой не было, но чувствовалось чье-то чужое враждебное присутствие. Здесь, рядом с правой грудью. И еще на спине, вдоль позвоночника там словно крался кто-то. Трудно ворочалась шея, правые рука и нога были холоднее, чем левые – это чувствовалось явно. Ирина тронула правую щеку сначала правой же рукой. Странное ощущение: между пальцами и кожей как бы лежал лист бумаги. Дотронулась левой, ощутила сухую кожу, но щека едва воспринимала прикосновение...

Женщина поджала губы, присела на корточки и принялась равномерно постукивать и поскребывать пальцами по полу. Было неправдой, что здесь, в больнице, она ни с кем не сошлась: вскоре из-за тумбочки в углу послышалось ответное шебуршанье и легкий топоток. Вот показалось черное недоверчивое рыльце, а затем вылезла и вся гостыя – не очень крупная крыска. Ирина быстро достала из кармана махрового халата кусок сухарика и на открытой ладони протянула зверьку. Он помедлил чуть, но потом опасно приблизился и – схватил угощение. Убедившись, что да, годится, принялся расправляться с сухариком на месте, и приятно было на это посмотреть: сначала быстро раскрошил острыми его резцами на небольшие кусочки, а потом начал деликатно поедать их, присев на задние лапки и держа гостинчик в передних, очень похожих на человеческие руки, только миниатюрного размера. Быстро-быстро двигались тонкие усики, подрагивал от удовольствия неэстетичный облезлый хвост.

Ирина тихонько, боясь спугнуть, присела рядом на пол и шепотом сказала:

- А я тебе имя придумала: Лизиска.

Животное невозмутимо продолжало ужин, но Ирина убедила себя, что мордочка приобрела озадаченное выражение. Она сочла нужным пояснить:

- Это на самом деле Мессалина. Третья жена императора Клавдия. Любая крыса на свете лучше ее. Но ты не обижайся. У Мессалины был псевдоним – когда она инкогнито посещала римские притоны, Лизиска. По-моему, хорошо выходит, а? Крыска-Лизиска. Правда, может, ты не Лизиска, а Лизис – у тебя ж не проверишь. Но какая разница. Так договорились? Лизиска-Лизиска-Лизиска, – позвала Ирина, быстро скребя пальцами по голой ноге.

Произошло удивительное. Плотнo поевшая Лизиска напряглась было, будто собравшись бежать, но вдруг передумала. Она проворно вскарабкалась на вытянутую ногу женщины и, суетливо перебирая лапками, понеслась вверх к животу. Здесь Ирина поймала ее и погладила. Крыса замерла от удивления, очевидно, решая – сразу куснуть или пока перетерпеть. Но Ирина вдруг сама выпустила крысу. Крыса изумленно осталась на месте: вроде не укусила еще – чего прогнали?

- И у тебя тоже! – прошептала Ирина.

Только что на боку зверя под кожей она случайно нащупала твердую опухоль размером с половинку грецкого ореха. Тем временем Лизиска осторожно пятилась, дойдя уже до колена. Она решила пока не кусаться. Уже несколько дней новая обитательница палаты по ночам привечала ее то кусочком изумительной колбасы, то пряником, однажды даже шоколадкой; может, завтра еще даст. Она отбежала на метр, грациозно присела на всякий случай – вдруг и сегодня будет добавка. Крыса не ошиблась. Тяжело поднявшись, человек подошел к холодильнику, достал оттуда большое желтое и пахучее, отломил изрядный кусок и бросил изумительное лакомство меньшему брату.

И опять чинно ела Лизиска, а Ирина качала головой, глядя на нее сверху:

- Вот как, значит... Вместе, значит, помирать будем... А может ты чуму переносишь, а? Валяй, я не против. Даже экстравагантно умереть в раковом от чумы...

...Давно уж убежала в свою неизвестную нору Лизиска, и даже небо светлело потихоньку, а все неподвижно лежала больная, лежала с открытыми глазами, лишь иногда глубоко вздыхая и кашляя, и тогда незримый враг, окопавшийся в груди, оживал колющей болью, и разом отзывалось в других, совсем неожиданных местах, вчера еще казавшихся надежными... А когда гасла боль, задремывал незнаемый мучитель, приходила и наваливалась на тело и душу смертная мука. Не было в ней ничего определенного – ни неумного желания уцелеть, ни тяги к навеки покидаемому. Это была когда «болит там не знаю где» или «уйди то не знаю что» – словно душа сошла с постоянного места и никак не может найти обратный путь. Уж спят глаза и не открыть их, а не наступает забытье; заметаться бы, перевернуться – да нельзя: боль-то уснула, на разбудить бы спящую собаку... И чем светлее окно — тем острее душевная мука... И вот, сдается Ирина, протягивает руку к звонку. Приходит вялая и хмурая спросонья растрепанная Оля без колпака небрежно делает укол... Так повторяется почти каждое утро. Только днем выбирается больная из палаты и, ни на кого не глядя, ни с кем не здороваясь, идет по коридору в столовую за кипятком...

...А знаете, у меня теперь есть ручная крыса, своя собственная крыса. Она повадилась вылезать из невидимой дыры где-то за тумбочкой – и я прикормила ее. Не знаю, почему люди так брезгливо относятся к крысам. Я давно читала, что по уровню интеллекта они стоят гораздо выше обожаемых человечеством собак – где-то в одном ряду с дельфинами, обезьянами и слонами. Мою я разглядела: даже симпатичная мордаха, совсем не злая, настороженно-умная. А как ест! Одно слово – культурно. Ни крошки не уронит, все подберет — и на меня позыркивает, забавно так. Все впечатление портит, конечно, хвост. Вы знаете, какие у крыс хвосты: словно дождевой червяк по недоразумению порос редкой шерстью. Но на него не обязательно обращать внимание, а если взглянуть на вопрос хвоста с другой стороны, то можно найти его даже умилительно-жалким. Моя Лизиска бодра и прожорлива, но – тяжело больна. Представьте, у нее тоже рак. То есть, конечно, как поставить диагноз крысе? Но все же, эта опухоль на боку, которую я случайно нащупала... Плотная, неподвижная и как бы бугристая. Словом, у меня теперь завелся отличный товарищ по умиранию и даже появился некоторый спортивный интерес: кто

первый добежит?

Вы думаете, что знаете, откуда такой цинизм: она, мол, до леденящего ужаса боится – вот и одевается в тяжелую броню скепсиса; это ее способ борьбы, в которой она все равно надеется победить... Не спорю. Очень возможно.

Однако я обещала Вас попотчевать еще парой-тройкой баск из моего несчастного детства, откуда, как считаете Вы, пустило корни мое теперешнее человеконенавистничество.

Итак, раннее утро. Будильник только что оттремел, призывая меня в седьмой, Ленусика – в четвертый класс. Я лежу, уютно свернувшись калачиком под одеялом, и борюсь – нет, борет меня – сладкий утренний сон. Зима, холод снаружи. Кажется, если только чуть пошевелиться — и он прорвется ко мне, захватывает ледяными лапами, пустит озноб от макушки до пяток. Это самые тяжелые минуты, самые мучительные.

Но вот распаивается дверь, грохнув бронзовой ручкой о стенку – там уже изрядная вмятина от этого ежеутреннего распаиванья. Тут же безжалостным режущим светом вспыхивает во все лампы люстра под потолком, и мать раздраженно бросает мне па ходу:

- Ирина, вставай! Семь часов!

Она мчится через мою длинную, как трамвай, проходную комнату (лет сорок назад здесь спала на сундуке прислуга) – в заднюю, миленькую, как шкатулочка, – к Ленусику. Дверь между комнатами остается приоткрытой, и до меня долетает оттуда совсем другой голос, каким может говорить не мать, а только Мамусик (это она присела на край кровати Маленькой):

- И кто это тут у нас такой тепленький? И кто это тут свернулся таким комочком? И чьи это тут кудряшки выглядывают?..

- У-уу... — доносится в ответ.

Это изумительно, но даже в самую первую секунду просыпания Ленусик уже умеет придать своему мычанию грациозную, капризную томность.

- Просыпайся ма-аленькая, просыпайся ла-апушка, мама сварила кака-ао, – уговаривает Ленусика Мамусик.

- У-уу... – отвечает Ленусик. – Не хотю-у...

Она именно так и произносит – ну, не совсем так, а нечто среднее, присюсюкивающее, между «т» и «ч». Маленькая – так Маленькая. И я будто перед собой вижу, как она капризно надувает губки и очаровательно натягивает на кудряшки одеяло повыше.

- Спа-ать ха-атю-у...

У них с Мамусиком начинается любимый утренний ритуал: Маленькая несильно сопротивляется, принимая прелестные позы избалованного ребенка, а мать воркует, шутливо дергая одеяло:

- Чьи это глазки никак не проснутся? Проснись, глазок... Проснись, другой... Проснись, маленькая девочка...

Мне за это время полагается встать, умыться обязательно ледяной водой – там уж отец проследит, чтоб газовая колонка была выключена – надеть жесткое и колючее форменное платье и сесть за стол в просторной кухне, где домработница, уныло зевая, бренчит посудой и толкает меня дряблым бедром, пронося мимо чайник. За стеной в ванной мама сама причесывает и умывает младшенькую теплой водой: девочка слаба здоровьем (с чего это взяли – неизвестно) и от ледяной не закалится, как я, а непременно простудится и умрет. За другой стеной, в родительской спальне, грузно топает ногами и бухает дверцей зеркального шкафа Папусик – ему уходить раньше и он уже позавтракал. За окном неподвижно стоит непроглядная, насквозь замороженная тьма, в которую мне через полчаса выходить из теплой прихожей...

Но б то утро, о котором пишу, – я специально нишу именно о том утре, потому что другие были похожи друг на друга, как пуговицы со школьного платья, – я в первый и последний раз в детстве взбунтовалась.

Ослепительная ярость, давно зревшая, вдруг взорвалась во мне, и я застонала как припертый в угол преступник, заскрежетала зубами и укусила подушку. Еле перевела

дыхание и процедила: «Подождите... Вы у меня увидите...». Дура, что я могла продемонстрировать, кроме бессильного протеста некрасивого и неумного подростка?

Из комнаты Ленусика слышались звуки, свидетельствовавшие, что она-таки изволила подняться: вздохи, зевки, бормотание, радостный лепет матери... Вот мать входит обратно в мою комнату, где, предполагается, меня уже нет, и –

- Ты что, еще валяешься, ненормальная?!

Я отвечаю, идеально, как мне кажется, подделавшись под голос Маленькой:

- У-уу...

- Ты чего мычишь, корова?! В школу кто пойдет?!

В ответ я абсолютно Ленусиковым движением натягиваю на голову одеяло. Только из-под него не выются смешные русые кудряшки, к каким привыкла мать в соседней комнате, а безобразно торчат жесткие, как конский волос, неопределенного цвета патлы.

- Не хо-очу... Спа-ать хочу...

Даже из-под одеяла я слышу, как ахает мать. Потом – ни звука, очевидно, она ловит ртом воздух. И, наконец:

- Ты что, взбесилась, кобыла бесстыжая?! Ты что корчишь-то тут из себя, дрянь?!

Но я непреклонна:

- У-уу...

- Ах, так... Виктор!! Виктор!!! — даже голос не похож на материнский и вообще на человеческий: словно гиена поперхнулась. В коридоре – слоновий топот, на пороге – рев:

- Что опять эта выкинула?!

Надо сказать, что ни на какое «опять» он права не имел: такое возмутительное представление происходило впервые.

- Чертова девка кобенится тут! Ломается! Мычит, будто белены объелась! Ей выходить через полчаса, а она разлеглась задом кверху и говорит «не хочу», видите ли!

Я предпринимаю последнюю попытку:

- У-уу... Спа-ать... – и сладко, с полустоном вздыхаю, делая движение, словно собираюсь потянуться.

- Да она... Маленькую передразнивает... – догадывается мать и начинает задыхаться, как если б перед ней совершался акт варварского кощунства. – Совсем... сбрендилась...

Если Вы, друг мой, еще не поняли, то я подскажу Вам: мои родители в обыденной жизни были очень интеллигентными людьми. Они тщательно выбирали слова, неуклонно заботились о «литературности» своего языка, никогда не повышали голос – но, увы, это не касалось меня. В разговорах со мной профессор и его супруга непостижимо превращались в извозчика и прачку, истово обрушивая на меня едва ли не площадную брань, причем нимало не стеснялись в выражениях. Кроме того, в то утро их можно было понять: вовсе не очаровательный ангелочек с замашками матерой прелестницы мило дразнил их родительские чувства, а нескладный, неуклюжий, нелепый, наделенный еще парой десятков «не» и – да! – угреватый подросток бессмысленно кривлялся перед ними, оскорбляя их этические и эстетические чувства.

Ничего другого и ожидать не приходилось: в ту же секунду одеяло было содрано с меня, как кожа с Марсия, и, когда я инстинктивно села в постели, следуя за стремительно удалявшимся теплом, – две оглушительные оплеухи вспыхнули у меня на щеках, и отцовская воспитующая длань угрожающе зависла для третьей...

Дальше Вы и сами додумаете, а я Вам еще расскажу. О том, как в эпоху, когда уже додушили всех «врагов народа», я стала врагом, так сказать, государства в миниатюре, а именно, врагом семьи!

Единственной моей шалости в том же седьмом классе я обязана тем, что в семье лишилась даже своего имени. Мне дали новое, потом узнаете какое.

Школа наша размещалась в старинном здании, где до революции была какая-то привилегированная гимназия. Когда пытаюсь описывать ее кому-нибудь, у меня всегда не хватает слов, зато в душе неизменно растет непередаваемое ощущение – простора. Простором, полным воздуха, дышало все: лестницы, на ступеньках которых еще остались

по краям медные кольца, державшие много лет назад ковер; величественный, выкрашенный всегда в розовый цвет актовый зал с обильной белой лепниной, где потолком, казалось, служило само небо – настолько он был недостижим; в некоторых классах долго сохранялись добротные старинные парты с наклоном и выемками для чернильниц – и так удобно было писать; коридоры, скорее, рекреации, где любая детская возня выглядела мелко; строгая библиотека, хоть и прореженная изрядно, но в ней свободно можно было взять почитать прижизненное издание «Войны и мира»... Достопримечательностью считались даже туалеты (в одном из них и разыгралась драма), более похожие по размеру на бальные залы.

Расскажу мимоходом еще об одном обстоятельстве – именно Вам может показаться интересным. Итак, вернемся на лестницу. Здание было четырехэтажным, высота каждого этажа соответствовала дореволюционным представлениям о красоте и удобстве – так что можете представить себе, какая именно высота набиралась в совокупности. Парадная лестница вела наверх из подвала, где имелся гардероб (о нем вы можете судить по фразе, брошенной в десятом классе одним из моих лихих соучеников: «Если наши в город войдут, здесь отстреливаться можно будет») – и заканчивалась на четвертом этаже перед входом в «рекреацию» небольшой площадкой с витыми перильцами. Пролет лестницы – глубокий, как шахта, с метлахской плиткой внизу, по неизвестным причинам не был снабжен железными сетками, как это еще встречается в старых домах на случай чьего-либо непредусмотренного полета. Так вот, делом особой чести, своеобразным ритуалом посвящения в Братство Храбрых считалось среди первоклассников и продленников после уроков подняться на верхнюю площадку, лечь животом на перила, свеситься над бездной, оторвать от пола ноги, задрать их наверх и так покачаться. Через эту процедуру прошли абсолютно все учащиеся – всех поколений и обоего пола – кроме, разумеется, совсем уж безнадежных трусов, которые как были ни на что не годны в первом классе – такими и оставались до выпускного бала. Очевидно, традиция аккуратно перекочевала в советскую школу из частной гимназии, потому что школа ни на день не закрывалась.

Но за всю историю не было известно ни одного – действительно ни одного случая, чтобы кто-то из детей неудачно сорвался в пролет и был потом соскоблен с метлахских плиток: об этом не только не слышали, но и по логике выходило то же: ведь после такого происшествия сетки установили бы при любой власти... А их – не было, несмотря на очевидную опасность, наблюдаемую не одним поколением учителей. Более того, даже особых мер не принималось, чтобы пресечь эту дополнительную гимнастику – словно под негласным запретом находились замечания именно по такому поводу. Во всем же остальном нас жучили как нигде: школа из привилегированной претерпела метаморфозу в образцово-показательную. Разве что пробежит на каблучках мимо молоденькая училка и пропоет ласково: «А-я-яй, детки, упадете...» – и погрозит хорошеньким пальчиком...

Вы скажете, что все это оттого, что гимназия, когда ее сто пятьдесят лет назад построили, во время открытия была освящена, как и плод любого труда – да и я, надо сказать, склонна с Вами согласиться: другого объяснения просто нет.

Ну а теперь, после лирического отступления, я беззастенчиво ввожу Вас, дорогой друг, прямо в женский туалет. Тот самый, похожий на зал, с высоким полукруглым окном и широчайшим – хоть спи на нем – подоконником. Сразу картина: я стою на подоконнике. Что меня туда привело – объяснять скучно и неприятно. Скажем, меня туда загнали. До этого был визг, похабный хохот одноклассниц из наиболее одиозного в классе кружка – а я случайно зашла, по конкретному делу, с каким все порядочные люди заходят. Зашла, была атакована, от меня что-то важное то ли шутку, то ли всерьез пытались отобрать, я не давала, они начал! теснить, все более сплачиваясь между собой благодаря истерическому возбуждению, стадно охватившему их, а я отступала доотступалась до окна. Там меня опять как бы забавы ради прижали стали махать руками – а я не терплю чужих прикосновений. Сама не заметила, как взгромоздилась, оказавшись в еще более уязвимом положении. Злобные дуры не преминули хватать меня за ноги, а я осторожно отлягивалась, прикидывая, не треснуть кого сверху портфелем по башке. Решила, что не

стоит: после этого стащат вниз, повалят и избьют ногами, давая друг другу ценные советы типа «Бей по почкам!». Так уже было с другой классной тихоней; обидчиц пожурили у директора в присутствии родителей, но почки от этого у побитой сами собой не выздоровели. Поэтому я только выдергивала ноги, а портфелем трясла лишь для устрашения. Девки вошли в раж, тянуть стали крепче – попробуй побалансируй, стоя на одной ноге на подоконнике третьего (по-нынешнему пятого) этажа! И я, тоже начавшая беситься от отчаянья, рванула ногу резче, чем следовало. Каблук угодил в гигантское стекло, и оно с чудовищным звоном как-то разом обвалилось вниз, на улицу. Я только успела порадоваться, что с той стороны школы, вроде, все равно никто не ходит, как снизу донеслись вопли: имение в ту секунду туда принесло завхоза – проверять снаружи, как выяснилось, решетки на окнах гардероба... Завхозу сильно повезло: стекло упало не на нее, а рядом, лишь отскочившим осколком ей сильно поранило ногу. Несчастную увезла на штопку «скорая».

Я рассказала Вам точно, как было. Положа руку на сердце, скажите – я хоть в чем-нибудь была виновата? Но Вы уже догадались, что шалость (строго говоря, и не моя) выросла до размера *моего* уголовного преступления. В кабинете директора, где одной стороны уже мрачно сидел спешно вызванный с работы мой отец, а с другой – серьезный безусый участковый, со слов шести свидетельниц (я к тому времени уже прочно перешла в разряд подсудимых) ситуация выглядела так. Оказывается, шесть моих одноклассниц мирно выходили из туалета, когда туда «ворвалась» я. Я начала их «задирать» (нотабене: одна – шестерых!), говорить им «грубости» и даже «угрожать». После чего я без посторонней помощи «вскочила» (это с моей-то грацией) на подоконник, откуда продолжала испуганных девочек «оскорблять», при этом топая ногами и размахивая портфелем. Естественно, что окно я разбила намеренно, да еще и глянула перед этим вниз, дабы подстеречь невинного завхоза...

И опять не стану утомлять Вас нелепыми подробностями. Упомяну только, что аж до конца учебного года меня, бывало, останавливали в том же туалете ученицы других классов, отводили в сторонку и таинственно спрашивали: «Так это ты, значит, та самая Коршунова, которая на нашу Бегемотиху стекло сбросила? Ты чего, прицелиться, что ли, получше не могла?».

Татьяна же Петровна, благополучно вернувшаяся из больницы с зашитой ногой, даже не хромала, а продолжала заниматься своим интересным хобби, за которое многие и до и после меня готовы были покуситься на ее жизнь. Она подслушивала, подсматривала и выслеживала, не провинившихся – науськивала на гадости, а потом пунктуально доносила директору. Дополнительной зарплаты она, вероятно, за это не получала, а трудилась во славу дьяволу, от него-то, верно, и получив свои чрезвычайные способности к наушничеству. Она, была, видите ли, в этом деле виртуоз, и равных ей я в дальнейшей своей судьбе не встречала.

Меня, пробрав у директора, паче чаяния, никак не наказали: наверно, инстинктивно почувствовали, что дай делу законный ход – и я на глазах у всех из скромной предсказуемой троечницы вдруг превращусь в кошмарного монстра с задатками маньяка, и упрятывать меня придется уже не в колонию для малолеток, а в сумасшедший дом, в палату для буйных. Это все-таки не очень вязалось с привычным представлением обо мне, так что спустили на тормозах.

Вот с того-то дня я и потеряла имя.

- Знаешь, что эта, – и указующий перст отца уперся мне почти в лицо, – наделала сегодня в школе?! Пыталась совершить – убийство!

Так сказал отец матери, вернувшись из школы вскоре после меня. Его задержали там, дабы взыскать стоимость стекла, а я предусмотрительно улизнула, избежав хотя бы совместного с ним пути домой.

И у короткого указательного местоимения, как большой кривой рог, незаметно стала расти заглавная буква.

- Скажи Этой, чтоб не разбрасывала свои портфели по прихожей! – (портфель был

один и скромно стоял в уголке).

- Опять Эта напакостила в ванной! – (я там забрызгала зеркало зубной пастой и в спешке забыла вытереть).

- Я требую, чтобы Эта не устраивала бардак в моем кабинете! – (мне понадобился Брокгауз, и я не очень ровно поставила том на место).

- Дело рук Этой, кого же еще! – (на этот раз забыла дверь на цепочку запереть).

И так далее, и так далее... Все обвинения провозглашались непременно в моем присутствии – и обращались к матери. Она служила неким передаточным звеном между отцом и мной: он подчеркнуто брезговал лично обращаться к такому ничтожеству. А что касается матери, то вместо бывшего «Ирина», уже мысленно принятого мной, она нашла удачный компромиссный вариант: «Ты».

Когда отец бывал в философском настроении, например, плотно отобедав в уютном семейном кругу, он любил, откинувшись, порассуждать на отвлеченные темы:

- Есть люди – закоренелые преступники. Они могут красть, убивать, мошенничать – и все это почти открыто, потому что суть рвется наружу, так сказать... Бывают предатели Родины, изменники, шпионы. Они создают организации, плетут сети, якшаются с врагами... Но вот что мне иногда кажется: эти люди – какие-то значительные. Ведь это же решиться надо – убить, предать... Для этого Личность нужна – да, с большой буквы! А бывают люди, которые и хотели бы совершить крупное преступление, чтоб выделиться, чтоб видели – вот, мол, я какой – а не могут: кишка тонка. А кпроку-то тя-анет, тя-анет, а стра-ашно: ну, как за руку схватят? И вот, начинает такой человек гадить по-ме-елкому... Просто та-ак... Потому что не мо-ожет без дурного... Исподтишка-а, ме-ерзко так... И притом, только там, где знает, что безнака-азанно... Где близкие люди, где простят, потому что лю-юбят... А где же их взять, кроме как в собственной семье? Вот они и пакостят, бесце-ельно так... Тупо... Пакость ради па-кости... Вот как, например, Эта выпустила сегодня кота за дверь... И сидит себе в углу, подхихи-икивает... смотрит, как весь дом с ног сбился – ничего, мол, пусть поме-ечутся, а я погляжу, порадуюсь... – и едкая взвинченность его голоса все нарастала, он увлекался, начинал багроветь и потеть, упорно не глядя в мою сторону. – Вот как у нашей страны есть враги внешние, а есть внутренние... И в семье может завестись такой вой враг-паразит, и точить е изнутри, точить... Извращенец, собственно, потому что это ведь противоестественно – так ненавидеть свою семью-у...

Моим самым случайным, самым пустяковым проступкам приписывались чудовищные в своей нелепости побуждения. Я не просто разбивала чашку, а непременно имела при этом цель разбить заодно и сердце матери, потому что чашку ей подарил отец сразу после свадьбы. Если я изредка пачкала чем-то пол, то это обязательно для того, чтоб у домработницы Дины, когда она бросится сломя голову подтирать, разыгрался бы радикулит, и она бы слегла в мучениях. Никто не мог допустить, что я действительно потеряла два рубля, выданные мне на школьные обеды: не сомневались, что я помчалась в ближайшую кондитерскую и там, давясь и пачкаясь жирным кремом, запахнула в себя десяток любимых трубочек – «и ду-умала при этом: вот, я умнее всех, а этим дурачкам родителям лапши на уши наве-ешаю, а они меня еще и пожале-еют...». Даже если б имел место процесс пожирания пирожных, то о том, что меня пожалеют, я и помыслить бы не могла! Порвала ли я платье, опрокинула ли компот, брякнула ли глупость – во всем отец видел мрачную и грязную подоплеку, и будь все в действительности так – оставалось бы только удивляться бездне моего коварства и гнусной изобретательности...

Вот и получилось так, что я жила вне семьи, не стараясь, да и просто боясь войти в более тесное соприкосновение с существами, жизнь, быт, мысли и чувства которых нельзя было назвать иначе, чем гумозными. Не знаю, что в точности означает это словечко, но, по-моему, оно как нельзя лучше подходит к такой, например, ситуации: «Мамусик» мирно принимает ванну в нашем огромном, но все-таки совмещенном санузле, а рядом с ней на толчке непринужденно испражняется «Папусик», и при этом они оживленно обсуждают премьеру в Александринке, откуда только что вернулись. Войти в более близкий контакт с

этими людьми означало получить право, как ни в чем не бывало залезть за обедом своей ложкой в чужую тарелку («Что это у тебя там такое вкусненькое?») и предоставить другим соответствующие права на тарелку свою.

При одной мысли об этом рвота поднималась у меня к горлу. А так – я сижу за общим столом, уткнув нос чуть ли не в суп, и слышу окрик: «Опять ссугулилась?! Сколько тебе повторять можно, тупица?!» – но суп мой никто не трогает. На загородных прогулках пришлось бы разуваться и, балагурия, шлепать по земле и песку босиком, потому что так здоровее. А для меня такое – пытка: сняв обувь, я немедленно обращаюсь в андерсеновскую Русалочку. Пусть отец кивает матери: «Опять Эта кобенится – особенность, вишь-ты, выказывает!» – но туфли с меня никто не срывает, и ногам моим уютно.

Одним словом, со временем я не только смирилась со своим положением изгоя, но и нащупала его очевидные выгоды; если человек отпетый – какой с него спрос? И я покорно дала себя отпеть. На оскорбления годам к пятнадцати реагировать перестала, зато избежала и спроса. После пятнадцати лет пришлось туго только один раз, но об этом позже; я еще не закончила о том, что было – до.

А были воскресные семейные завтраки. Обставлялись они каждый раз с необычайной торжественностью. Домработнице Дине, крупной женщине неопределенных лет, каменно равнодушной ко всему и молчаливой настолько, что я всегда сомневалась в ее умственной полноценности, вменялось в обязанность вставать спозаранку и печь чудесные булочки с маком, рогалики с корицей, варить по особому рецепту какао для Ленусика и накрывать хрустящей скатертью круглый стол в гостиной. Для утреннего воскресного священнодействия использовался старинный чайный сервиз, изготовленный для прабабушки на фарфоровом заводе по особому заказу. Этот сервиз до сих пор почти цел у меня, я его даже люблю. Чашки сделаны из такого тонкого фарфора, что, если осмотреть их на свет, то даже не увидишь доньшка. Не сохранилась только полоскательница – но в годы моего детства она неизменно появлялась на семейном столе, хотя в ней и тогда уже никто ничего не полоскал. Выкладывались также серебряные ложечки разных видов: для сахара, для чая, для варенья, для десерта; особые ножики для масла, хлеба, пирога – и черенок каждой вещицы украшен был затейливым вензелем с переплетенными заглавными буквами имен прабабушки и прадедушки.

Вся семья рассаживалась вокруг стола и, согласно традиции, мама сама начинала разливать...

- Тетечка Ирочка! – дверь распахнулась, и в палату вбежала тоненькая молодая женщина со светлыми локонами и огромными радостными серыми глазами.

На женщине была надета скромная бирюзовая кофточка и черные свободные брючки; украшения она не носила. Женщина легко подлетела к кровати больной, опустилась, как маленькая резвая птичка, обвила шею Ирины Викторовны нежными сливочного цвета руками и прочувственно поцеловала обе пергаментные щеки. Это была Юленька, единственная родственница Ирины, троюродная племянница – если именно так называется дочь дочери двоюродной сестры матери.

- Ну, как ты сегодня? – озабоченно спросила Юленька. – Лучше тебе? Поправляешься понемножку? Доктор что говорит?

- Доктор дурак, – бодро ответила больная. – Он втирает мне очки и утверждает, будто бронхит идет на убыль, он вот-вот возьмется за мою «маленькую» опухоль и вмиг ее прикончит. Другими словами, он не дурак, а скотина.

Юленька отстранилась:

- Тетечка Ирочка! – деланно возмутилась она. – Опять ты в своем репертуаре. Все-то у тебя кто – дурак, кто – скотина. А доктор-то, между прочим, умница. И внимательный такой. Вот я с ним сейчас в ординаторской разговаривала, и он мне, прямо скажем, на тебя жаловался. Говорит, что ты себя лечить не даешь.

- Я?!! – изумилась Ирина. – Я – не даю?!! Он что, ко всему еще и спятил? Я хоть от одной его процедуры отказалась? Я хоть одну таблетку выплюнула?

- Нет, нет, не то. Но знаешь, мы, врачи, очень хорошо чувствуем, когда больной нам не доверяет. Когда считает, что он больше нас знает. Мы не любим, когда вы всякие справочники медицинские читаете и впадаете в мнительность. Ну вот скажи – зачем у тебя на тумбочке эта книга – «Онкология»? Зачем ты себе диагнозы ставишь? Сама же знаешь, что там все можно найти, кроме родильной горячки и воды в коленке.

Ирина прикрыла глаза:

- Подопытным кроликом не люблю себя чувствовать.

- Ну каким кроликом?! Ну каким еще кроликом?! – обиделась Юля. – Ты со своим скепсисом сама себя в гроб вгонишь. Знаешь, какое значение имеет настроение больного? Его вера во врача? Да она чудеса творит! Случится, что больной уже безнадежен, ему и жить-то три часа осталось, а он все верит, что его завтра выпишут, и даже чувствует себя хорошо... – Юля вдруг уловила пронзительный взгляд тети и запнулась, сообразив, что сболтнула лишнее. – Я это не про тебя, а вообще про то, что...

- Что такой больной умирает, как засыпает, строя грандиозные планы на будущее. Ему уж наркотики в лошадиных дозах колют, а говорят что витамины, – зло усмехнулась больная, – а он, дурак, все доброму доктору верит. Так, дураком, на тот свет и отправляется. Заманчивую картину рисуешь, Юленька, нечего сказать...

Юленька заерзала:

- Ты всегда все наизнанку вывернешь, что ни скажи. Ты себе внушила, что, раз в онкологическом оказалась, — то непременно рак. А между тем, отсюда гораздо больше людей выписываются здоровыми, чем умирают.

- Их выписывают дома умирать, чтоб статистику не портили

- Тебя ни в чем не убедишь! – со слезами в голосе воскликнула Юля. – Ты себе теорию создала и с ней носишься. А такая теория может уже сама по себе человека убить. Если человек внушит себе, что у него рак, то он и умрет. Ты не знаешь, какая великая вещь — внушение!

- Да ничего я себе не внушаю... — начала было Ирина, но махнула рукой. – А, ладно... Беспольный этот разговор, Юля, все равно мы друг друга не убедим. Вы, врачи, – каста. Как масоны, честное слово. Все другие люди для вас – профаны, им можно какой угодно лапши на уши навешать. Вот ведь незадача, видишь ли... Ты моя племянница, Юленька, я тебя такой вот еще помню... Говорю с тобой как с племянницей, а ты со мной как с тетей – и все хорошо. А вот начнешь ты разговаривать как врач – и стена. А медиков мне здесь и так хватает... Давай поговорим по-родственному... Расскажи мне... Вадик как? Что не пришел? Занят?

- Сутки у него сегодня. Привет тебе передает, поцеловать за него просил, – Юля качнулась и опять чмокнула тетку. – Ничего, живем как все. Дом – работа, работа – дом... Даже отдохнуть не можем как люди. Куда-то съездить... Везде денег надо не знаю сколько... Перебиваемся... – тут Юля вторично осеклась, решив, что про деньги с теткой не надо: еще решит, что это намек.

- Ну а друг с другом? Ладите?

- Помаленьку... Притерлись... Вот если б ребенок был... А так... Знаешь, мне кажется, что после того несчастья со мной он будто... Словом, переменялся. Меня, что ли, винит в том, что произошло? Не понимают мужчины, что от нас не зависит... Тугое обвитие... Что я могла поделать?

- Ну а... еще попробовать? – осторожно спросила Ирина.

- Это сейчас-то? Когда не знаем, что сами завтра есть будем? Чего нищету-то плодить! Вот, Бог даст, встанем на ноги... – и в третий раз она замолчала, боясь, как бы тетка не истолковала последнюю фразу так: «Вот ты умрешь, и будут у нас деньги...».

Юля быстро перевела разговор:

- А я тебе тут вкусенького притащила – ведь съела уже все с прошлого раза-то?

Она принялась ворошить сумку и выкладывать гостинцы:

- Курочка вот копчененькая, как ты любишь... Сырку полкило, голландского... Маслице... Икорки красненькой баночка... Хлебушек, колбаска тверденькая... Компотику

пару баночек прихватила... Да, вот рыбка еще соленая, семга называется...

- Юля! – всплеснула руками Ирина. — Сколько денег-то опять ухлопала! Тоже мне — самим есть нечего! Говорила я тебе – не траться так! Там внизу, в холле, кафе есть приличное, да и кормят в платных палатах... Не Бог весть как, но сносно... В следующий раз...

- Ой, что ты, что ты, тетечка Ирочка! – затараторила племянница. – Причем тут деньги, когда человек болен! Тебе поправляться надо, радовать себя, а ты про какие-то деньги...

- Да уж...

Ирина хорошо понимала, как тяжело торчать в палате у безнадежно больного и как хочется поскорей оттуда вырваться на вольный воздух. Да и ей самой трудно было: звала к себе зеленая тетрадка, вообще тяготило общение. Она помогла Юленьке:

- Торопись, наверное?

Юля пожала плечами, выдерживая хороший тон:

- Ну, не так, чтобы очень, но...

- Так и беги, детка... За мной сейчас уже сестра придет, на рентген потащит, а я до того еще перекусить хочу. Спасибо, что навестила, девочка, ступай теперь...

Юля облегченно расцеловала тетю, еще раз немножко попеняла ей за мрачное настроение, пожелала поскорей вернуться домой, и лишь потом, словно случайно вспомнив, приступила к главному:

- Да, тетя Ира, я вдруг вспомнила... Про твои кактусы. Не засохли бы. Жаль будет – такие красивые... Я все представляю, как они цветут. Может, ты мне ключ дашь, я поливать буду, а?

- Не нужно, детка, – отстранилась Ирина. – На то они и кактусы, чтоб без воды обходиться. Ну, а если и засохнут – тоже не беда: не дело это, чтоб кактус хозяина пережил. Я помру – и они тоже. Все законно. Да, а я не спросила – Зайка моя как?

Речь шла о молочно-белой кошке, взятой «на время» Юлей и Вадиком. Не показав разочарования, Юля радостно уверила:

- Зайка – чудесно. Кушает хорошо, здорова, только скучает по тебе немножко, а так – все в порядке.

- Ну и славно, – Ирина дала себя поцеловать еще раз и подтолкнула племянницу к выходу.

Как только Юля оказалась в коридоре, ее улыбка тотчас завяла. Передернувшись всем телом, она бегом бросилась вон из клиники. У выхода ожидала грязно-серая латанная-перелатанная «копейка», откуда при появлении Юли немедленно взволнованно высунулась чернявая голова ее мужа Вадика.

- Ну как, удалось? — еще за десяток метров крикнул он.

- Как бы не так, – Юля обогнула машину, резким движением открыла дверцу и плюхнулась рядом с мужем. – Не дает нипочем, старая сволочь.

- Ничего не можешь путем сделать! – с места в карьер озверел супруг. Трудно, что ли, было ей зубы заговаривать?! Про кактусы сказала?

Лицо Юли превратилось из миленького в хищное:

- Заговоришь ей! «Я помру, пусть и кактусы тоже», – сделал «крысиное лицо», передразнила она. – Ничего не слушает, сам бы попробовал! Только про кошку и спросила, больше ничто ее не волнует...

Вадик два раза треснул кулаком по рулю, каждый раз сопровождая удар смачным «С-стерва!» – и было непонятно, к кому это оскорбление относится.

- Завтра же выброшу эту вонючую Зайку! – вдруг рявкнул он. – Так бы и сказала ей: не дашь, мол, ключ, мегера, мы твою драную кошку...

- Совсем, что ли, сбрендил? – возмутилась жена. – Соображаешь, что она после этого с завещанием сделает?! – Юля перевела дух. – Ничего не попишешь, ждать придется, пока помрет. Я сегодня врача видела лечащего, так он говорит, две-три недели... Будем терпеть.

- Да не могу я терпеть три недели!!! – по-бабьи взвизгнул Вадик. – Мне послезавтра бабки отдать надо, хоть зарежься! Иначе уйдет «вольва», где потом за такие гроши

купишь?! – он призадумался на минуту. – Слушай, поехали, взломаем, к чертям, а? Она же все равно не вернется и ничего не узнает...

Юля скорчила быструю безнадежную гримаску и прищелкнула языком:

- Заманчиво... Только нельзя... Если хоть кто-то... Знаешь, сколько случайностей может быть, каких мы и не предполагаем? Соседка, например, в глазок увидит, пойдет и настучит... Да и мало ли еще что... Тогда из-за ерунды мы вмиг лишимся всего... Нет, нет, нельзя рисковать.

«Вольва» почти новая и задаром – это ерунда по-твоему, да?! Ты хочешь на этом металлоломе всю жизнь ездить, да?! Так она скоро на улице развалится, и ее никто уже не соберет!

Жена взглянула на мужа с ненавистью:

- Ты – идиот, – уверенно сказала она. – Если нас застукают, то это подсудное дело. А вдруг у нее там где-нибудь сигнализация? А? Об этом ты подумал? А если и нет, и возьмешь ты пару-тройку ее побрякушек, но нас поймают потом? Даже если она и под суд нас не отдаст, то остального наследства лишит наверняка! И будешь ты нищим на «вольво» – всю оставшуюся жизнь. А так... через пару недель она помрет, мы сразу же ключ заберем, пока квартиру не опечатали, все там подчистим, а уж через полгода преслокойненько вступим в права наследства на все движимое и недвижимое... Плюнь ты, дурак, на эту «вольву»: через полгода «мерина» купишь.

- Так ведь сама же в руки идет! – простонал Вадик.

- Это – кажется. Это – соблазн, – наставляла Юля. – Тебя лукавый подставляет, чтоб ты польстился, а потом оказался по уши в дерьме.

Вадик с сомнением уставился на жену:

- А она точно скоро помрет? Онколог-то что говорит?

- Да то и говорит, что метастазы уже в печени, позвоночнике и по лимфоузлам пошли. Когда процесс так начинается, то он идет со скоростью света – сам знаешь. И ничем его не остановить. Словом... – Юля провела ребром ладони по горлу и выразительно глянула на мужа. – Не беспокойся, это дело решенное. Нам главное сейчас не оступиться, а то потом всю жизнь локти кусать будем.

Супруг ее вздохнул:

- Ладно, будем считать, ты меня убедила. А все-таки жаль «вольву». Ох, жаль, мать твою...

Минут пять не желала заводиться проклятая «копейка», а когда завелась и тронулась, в салоне завоняло горелым. Вадим осторожно отчалил от тротуара и неуверенно потащился в первом ряду. Чтобы расслабиться, он закурил, и ехал молча, изредка бросая раздраженный взгляд в сторону тоже притихшей жены.

Вадик ненавидел ее давно, остро и непримиримо и, прежде всего, за то, что она всегда оказывалась права во всем – вот как сейчас. Он предпочел бы лучше самостоятельно совершать какие угодно ошибки и добросовестно платить за них впоследствии, лишь бы не убеждаться ежедневно в том, что он безнадежный дурак по жизни, не чувствовать у себя на плече этой твердой, неумолимой руководящей руки жены. Но каждый раз после того, как она спокойно и безжалостно в двух словах объясняла ему, почему следует поступать так или иначе, и к каким последствиям приведет тот или иной поступок, действовать по своему разумению он не решался – до того убедительно звучали все ее доводы. Сделать после этого по-своему означало оказаться уже не гипотетическим, а достоверным дураком...

Три года назад Вадик совсем уж было решился на развод, когда придурковатая Юлина тетка вдруг завещала ей все свое имущество – а было оно немаленьким и сулило такие перемены, о каких раньше и не мечталось. Поэтому ему не только пришлось отложить развод, но еще и прикусить язык, чтоб жена не развелась с ним сама. Он рассчитывал по получении наследства не мытьем так катаньем вытянуть из нее побольше, купить себе

место в престижной клинике, приобрести все ценное, что удастся, и уж тогда развестись как-нибудь по-хитрому, наняв приличного адвоката, чтоб жена ничего назад по суду не оттягала... И вот уже три года он корчил из себя примерного мужа, подъезжал к Юлиной больной тетке, чтобы та, не дай Бог, чего не заподозрила, тянул лямку на ненавистной работе, где только одна радость: всегда найдется в отделении молоденькая медсестра, готовая на сутках наскоро ублажить в ординаторской красивого молодого доктора... А дома ждала с вечными упреками и готовым супом из пакетика осточертевшая слишком умная жена...

Юля окрутила Вадика пятнадцать лет назад, на втором курсе. Он действительно тогда романтически влюбился в белокурую тростинку-однорупницу – резвую, как щенок, хохотушку. Будучи максималистом, да еще и импульсивным по характеру, Вадик задался целью ни в коем случае не упустить, не отдать другому свое кудрявое сокровище, и казалось ему, что жизнь с ней так и пойдет – весело, резво и смешно. Свадьбу они сыграли первые на курсе, переехали к его родителям, но вскоре произошло приятное для Вадика событие: неожиданно в две недели сгорела от воспаления легких Юлина сорокалетняя мама, оставив молодым однокомнатную квартиру. Юля как-то неубедительно поплакала на похоронах, но быстро обвыкла, стала хозяйничать в квартире, еще до сорока дней поменяла занавески на «веселенькие» и наклеила обои с птичками, от которых Вадика тошнило...

Он начал повнимательнее приглядываться к жене. Сам-то он тещу, конечно, ненавидел со дня знакомства, но родной дочери, по его мнению, стоило хотя для приличия поубиваться по матери подольше. И совсем неожиданно Вадик открыл для себя, что его ласковая кошечка-жена черства сердцем так, что это даже трудно представить, вдобавок ко всему – резка, цинична не по возрасту, а под стать хорошо пожившей старой гадюке; что она имеет задатки крайней скаредности и к тому же открыто жестока: однажды уличный кот исполнил вечером у них под окнами очередную душераздирающую серенаду, и тогда Юля, студентка-медичка, спокойно вылила на него из окна кастрюлю кипящей воды. Вадик и сам до котов был не охотник, и наплевать ему было на участь животного как такового, но хладнокровие жены, с которым она изувечила, если не угробила совсем, шелудивого кота, тогда неприятно поразило его...

А потом она забеременела, и это был кошмар. Именно в те месяцы он сначала разлюбил, а потом возненавидел ее навеки.

Сперва у Юли начался чудовищный, безобразный токсикоз. Ее рвало везде: дома – за столом и на стол, на улице, на глазах у прохожих, утром в постели на бельё и на него, постоянно – на пол, потому что она не успевала добежать до раковины. Однажды сделался приступ в присутствии случайных гостей, и Юля, мучительно не желая, чтоб ее стошнило при них, начала героически бороться – а именно, давиться, глотая извергаемое обратно. При этом все полезло у нее едва ли не из ушей, и Вадика самого едва тут же не вырвало.

Поначалу он еще пытался убеждать себя, что она ни в чем не виновата, что она носит его же ребенка, что ей необходима поддержка и сочувствие... Но очень скоро Вадик уверился, что врет сам себе, и никаких, даже минимально добрых чувств не может испытывать к этой женщине, моментально превратившейся в зеленую образину с красными от лопнувших сосудов глазами.

Сочувствие к больным и беременным он раньше представлял себе по-другому: вот красавица лежит в постели – бледная, изможденная, с легкими тенями вокруг глаз, очаровательная в своей беспомощности... На ней шелковая ночная рубашка, вся в кружевах. Вот она поднимает тонкую прозрачную руку и слабо зовет его побледневшими губами: «Милый, пить...» – а волосы ее живописи раскиданы по подушке – словом, можно писать трогательную картину в стиле грезовских головок. Хорошо было авторам любовных романов прошлого века описывать неземную нежность любовников к умирающим от чахотки подругам жизни! А попробуй-ка посочувствуй, когда она бродит по дому в грязном, воняющем блевотиной халате, все время давится, в ней что-то булькает и раздражается не стружкой крови, как в книжке, а потоком кошмарно желтой

жидкости! А сама – обтянутый серой кожей скелет, да еще оскаливается поминутно, морща красный нос и становясь похожей на кого-нибудь из героев Эдгара По. Она не кротко стонет, визгливо жалуется, истерично швыряет склянки с лекарствами через всю комнату, иногда животно вопит или ругается матом в ванной между приступами.

Вадик сатанел. Он считал себя эстетом, ценил красоту и поклонялся ей, живо чувствовал малейшие нарушения гармонии настолько, что раньше настроение ему мог испортить не в тон по добранный кушачок жены. Теперь он был глубоко оскорблен, ранен, почти уничтожен. «Как не может она взять в толк, – рассуждал он наедине с собой, – что отталкивает меня навсегда! Ведь если потом она и переменится, то я ведь все равно не прощу ей этого теперешнего... Навеки оно будет стоять перед глазами... Как ей не хватает элементарного такта, просто чувства самосохранения, что ли! Не может же не видеть, что отвратительна мне сейчас! Чего проще – сказала бы ненавязчиво, что теперь ей нужно побыть одной, полежать, а я ей мешаю — одна же комната. И сама попросила бы меня пожить пока у мамы. Я бы сделал вид, что с сожалением ей уступаю, но буду часто приезжать, привозить лекарства И, может, удалось бы спасти что-то... Могла бы проявить чуткость, деликатность... Так нет же! Назойливо требует вечного присутствия при ее муках. «Вадик, мне дурно...», «Вадик, побудь со мной», «Вадик, ты меня не жалеешь...» – Тьфу, дура! Меня бы кто пожалел!».

Дальше – больше. Рвота кончилась, начался токсикоз второй половины, нефропатия. Юля стала раздуваться, как резиновая игрушка: появились и нарастали отеки. Лицо заплыло, ноги стали слоновьими, она еле переваливалась, вообще перестала обращать внимание на свою внешность. Когда-то светлые кудри превратились в липкие серые сосульки, и волосы вдруг полезли так, что на голове среди этих сосулек просвечивала розовая кожа! От Юли непереносимо дурно пахло чем-то едким и сладким одновременно – с ним, будто он и сам забеременел, делались приступы тошноты, когда она проходила мимо, обдавая его легким ветерком... Как медик он знал, что это естественное явление при беременности, нужно просто чаще принимать душ, но она, видите ли, не могла! Она, видите ли, еле шевелилась! Ко всем прочим красотам добавилось явление чрезвычайно редкое для блондинки: на лбу и щеках у Юли появились коричневые пигментные пятна, словно большая грязная бабочка села, что обычно бывает только у темноволосых женщин. Юля почти не разговаривала с ним, что называется, «ушла в себя», только требовательно зывала к нему, чтоб он немедленно исполнил одну из ее многочисленных прихотей.

О, Вадим держался героически! Только один раз он позволил себе сорваться – когда заметил вдруг, что жена, с видом собаки, стащившей кусок со стола, торопливо пожирает лист бумаги, отвернувшись к стене. Она быстро-быстро его жевала и судорожно проглатывала. У Вадика задергалось лицо. Он подскочил к Юле:

- Ты что это... делаешь? Что ты... с ума сошла, что ли... Это же... Это же... Это ж надо...

- А что мне делать?! – со слезами ответила она. – Меня тянет на бумагу, не знаю, почему. Наверно, в ней есть что-то, что организму сейчас нужно. Я понимаю, что это глупо, но мне кажется, что она такая вкусная... Вот не могу ее не есть – и все!..

- Чтоб я больше... – с трудом перевел дух Вадик. – Чтоб этого никогда... А то я не знаю, что я с тобой сделаю!!! – неожиданно завопил он.

- Да там нет ничего вредного... – начала было Юля, уверенная, что Вадик опасается, не причинит ли она себе или ребенку неприятности, но муж посмотрел на нее так, что она поперхнулась, а он, еще раз жутко глянув, выскочил из комнаты, грохнув дверь.

Вадиму было совершенно все равно – загнется она от бумаги или нет – его сразило другое. Животность, так грубо выпершая наружу. Жена вела себя точно как самка любого вида, человеческие качества вытеснились непреложным звериным законом. Если б в дерьме нашлись «нужные организму вещества» – она и его стала бы жрать с аппетитом, не сомневался Вадим.

«Вот оно, вот оно, – задыхаясь, твердил он себе. – Вот что такое женщина... Самка... Только культура сделала ее похожей на человека, дала способность рассуждать, совершать поступки... Культура – и ничего больше... А как доходит до дела – выполнять,

предназначение – так она становится тем, что есть... Животным со всеми его инстинктами... Любовь, как же... Нет уж, либо ее вовсе нет, и все это сказки, чтоб облагородить скотство, либо она где-то совсем в другом месте... Вот влип-то, что ж делать-то?!».

Вадик жил до ее родов в состоянии полной безнадежности, готов был порой сам завывать, как зверь, а Юля, конечно, не перестала пожирать бумагу, только начала больше тихариться, вот и все... |

Однажды, вспомнил Вадик, к ним пришли их знакомые, муж с женой. Жена тоже ждала ребенка, даже срок оказался приблизительно таким же. Но то, что Надя в положении, можно было понять только по размерам живота. Во всем остальном она была веселой, красивой, ухоженной. Надя аккуратно накрасилась, замаскировав такие же темные пятна, как и у Юли, сделала модную стрижку, маникюр, оделась нарядно, на ней поблескивали украшения... Хотя и беременная – но была это женщина, с которой не стыдно и по улице пройти.

Жены остались в комнате. Юля лежала, как всегда – даже ради гостей не соизволила подняться! – а Надя сидела рядом, рассказывала ей забавные случаи из своей и чужой жизни, пытаясь отвлечь подругу от печальных переживаний. «Вот повезло Пашке, – успел подумать Вадим, следуя за другом на кухню, где предполагалось потихоньку кирнуть. – Хоть и брюхата Надька, а следит за собой, не опускается, взглянуть приятно...».

Но обзавидоваться вконец Вадим не успел, потому что армейский друг его Павел, сразу после первой, не закусывая по обычаю, обхватил голову руками и почти что простонал:

- Хоть бы родила скорей, сучка... Сил никаких нет больше... Вадим почувствовал, что сердце его рванулось и замерло:

«Неужели – то самое?!»

- А что? – невинно спросил он.

- Да так... – мялся Пашка, неуверенно поглядывая на друга. – Может, ты решишь, что я совсем того, но... Тебе не кажется, что беременная баба – это страх что такое, а?

- Ну, так, иногда что-то... – решил пока не признаваться Вадим.

- Везет тебе – иногда! – вскричал приятель. – А мне... Ну, почему я не моряк, говорила же мать – иди после армии в Дзержинку! Ушел бы в море на девять месяцев – и не видел бы всего этого! Как хорошо морякам, Господи... – он широким жестом налил по второй. – Ну, поехали...

Вадим бесчувственно проглотил водку. Он весь напрягся, желая вытянуть из Пашки побольше, сверить с собой. Надо сказать, что до того дня на него находило иногда чувство вины: «Вот, она из-за меня страдает, чтобы ребенка мне родить, а я ею же, как лягушкой, брезгую», – и он тогда впадал в кратковременную депрессию. Вадим небрежно бросил:

- Ну, если ты это о внешних переменах, так ничего страшного... Это ведь на время. Как без пяти минут врач тебе говорю.

- Да знаю я! – крикнул Пашка, но тут же зажал себе ладонью рот, покосился на дверь и зашептал: – Не в этом дело... А дело в том, что... Я понял: нельзя жениться на любимой. На той, которую – боготворишь. Ее и пальцем нельзя трогать... Целовать даже нельзя, не то, что... Потому что этим ты оскорбляешь любовь... Потому что процесс деторождения — от первого поцелуя до родов и дальше – это процесс безнравственный. Похабный, я бы сказал. И то, во что превращается любимая женщина во время беременности, это надругательство над любовью. Или нет: это сама жизнь смеется над нами: вот, смотри, дурак, у тебя там соловьи свистали, луна светила, восторги всякие... И полюбуйся, ради чего: чтобы она, которую ты на руках... Превратилась в эдакого динозавра... Чтобы ваша страсть ее так изуродовала, что ты на нее смотреть без страха не можешь...

- Ну, есть вещи, которые лучше не замечать, – авторитетно бросил Вадим, между тем как внутри у него все сжалось: Пашке страшно смотреть на свою красавицу-жену только оттого, что у нее живот вырос, а что уж тогда о нем, Вадике, говорить! – Можно смотреть на вещи шире и думать, что это процесс прекрасный: там, у нее внутри, невидимо зреет

новая жизнь, там целый мир, еще не вышедший наружу... И все это для того, чтобы новый человек – может быть, будущий поэт, ученый...

- Ва-а-а-а-а!!! – шепотом взревел Паша. – Ты совсем дурак или прикидываешься?! Да я на эти романтические сказки, – и он доходчиво показал двумя руками, что именно, – положил!!!

- Да брось ты, – лживо присоветовал Вадик. – Просто натура у тебя слишком чувствительная, и все. Пройдет...

- Да, счастливый ты... Может, я и психую, но... Знаешь, мне теперь не совсем бредом кажется, что в древности часто женили вовсе незнакомых. И ни о какой любви речи не шло. А нет любви – нет иллюзий. Баба рожает, мужик – землю пашет. И никаких опохабленных мечтаний, потому что мечтаний не было, а был закон – Божий и человеческий. По нему и жили, манны сверху не ждали, а каждый делал свое дело. Дети рождались каждый год, женщина практически всегда ходила беременной: необходимо, дети мрут, как мухи, выживает сильнейший, естественный отбор... А потом такая простая жизнь приелась. А знаешь, когда приелась? Когда в женщине разглядели – да что там разглядели! – приписали ей качества! – человека. Когда забыли про ее назначение рожать и рожать. И стали выбирать не по ширине задницы, чтоб больше и без проблем родила наследников, а по «уму», «образованности», «совместимости». И чтоб с лица была ничего. И так уж наша психология переменялась, что мы забыли, для чего вообще баба нужна. А когда вдруг видим истинную ее суть – мы ужасаемся, как чему-то противоестественному. Моя, представляешь... По два кило апельсинов в день жрет! И ничего, недохнет. Организм, видно, требует. А попробуй я – меня бы «скорая» увезла!

«Хм, апельсины... Что бы ты сказал, если б бумагу!» – усмехнулся про себя Вадим.

- О, скверность, скверность человеческого рода! – продолжал Пашка после третьей. – Да мы ж от рождения уже скверные, от своих матерей! Именно матерей!

- Это еще почему? – на этот раз искренне удивился Вадик.

Пашка придвинулся и заговорил, озираясь на дверь:

- Потому что, если уж все равно необходим этот варварский акт между мужчиной и женщиной, то ей не надо бы... того... Испытывать то же, что и мы. Она бы и так на это пошла, из одного материнского инстинкта. И из страха потерять мужа... Самца-добытчика... Мы – другое дело, нам приманка нужна, у нас ведь отцовский инстинкт отсутствует...

- Да ну?! – пуце изумился Вадик. – Ведь без этого – какой интерес, если она, как бревно?

- Интерес... Да, конечно, интерес... – шепнул Пашка. – А только не с женой бы этот интерес, а со шлюхой посторонней. Не с матерью детей... Потому что как представлю себе, что она теми же грязными лапами, которыми сам знаешь что... Потом младенца чистого хватать будет... И губами мерзкими целовать его... Так бы и убил заранее...

- Да ты это – того... У тебя с сексуальностью что-то не того... Ты б к психологу... сбивчиво посоветовал Вадим, почувствовав в словах друга новый простор для размышлений. – Хотя, может... Кто знает...

- А как она грудью кормить станет! Я тогда помру вообще, не выдержу, – пожаловался друг.

- А ты представь, что это Монна Лита с младенцем, Леонардо да Винчи. В Эрмитаже ведь смотришь – и ничего. Ангельская чистота.

- Пошел ты... Вместе с чистотой... Ведь это она будет! Та самая, с которой я по Неве... И до руки дотронуться не смел... А тут – вымя вывалит!!! – застонал Пашка, представив себе, очевидно, эту ужасную картину. – Нет, жениться надо на нелюбимой, с широким задом...

«А это мысль», – решил Вадик. Он вдруг вспомнил, как его мама, когда ему было двенадцать лет, родила маленького братика, который, правда, скоро умер: совсем больной был с самого рождения. Когда мать кормила грудью, у нее оказалось столько молока, что она не успевала его скормить, и платье у нее на груди все время было насквозь

мокрым. Вадик помнил, как неприятно ему было на это глядеть, но там другое – мать, ее как женщину не воспринимаешь. А тут... Юлька. Ему предстоит еще и это выносить! И станет она опять ходить немытая-нечесаная, в мокром на груди и еще описанном ребенком халате, а ребенок будет орать ночи напролет. «Да-а... Слона-то я и не приметил», – ужаснулся Вадим.

Тем временем Паша наливал по последней; поровну не хватило, и он начал деловито выравнивать порции. Выровнял, опрокинул и закончил:

- Любовь должна оставаться пожизненной девственницей, Вадька. А брак и дети – это совсем другое дело...

Тут и жены за стенкой закопошились, зацокали в коридоре Надины каблучки...

«Хм, в разговоре-то я получился эдаким поборником устоявшихся норм, – успел подумать Вадим. – А ведь это только начало...».

Но это был конец.

Когда через месяц «скорая» повезла скулящую Юлю в роддом, он решил было поначалу с ней не ехать: сбегать ее и дело с концом. Хотя на несколько дней остаться наедине с собой. Но врач даже предположить не мог с его стороны такого коварства и распорядился погрузкой в машину обоих как чем-то само собой разумеющимся. Вадик струсил и, чтоб не вышла неловкая сцена, перечить не стал. Из роддома деваться ему было некуда, так как стояла глубокая ночь, а на такси денег не хватало. Волей-неволей пришлось торчать в приемном покое, разделив кампанию с другим попавшим в такой же капкан папашей.

Тот нервничал, беспрестанно бегал курить в предбанник и все вскидывал на Вадима большие затравленные глаза. Но Вадим игнорировал молчаливые приглашения разделить переживания. Он мрачно сидел в углу, обхватив себя руками, и думал о том, как просто все его проблемы разрешились бы, умри жена родами. Ведь умирают же другие! «Как же! – произнес внутри него издевательский голос. – Это другие умирают, а твоя-то гадюка выкарабкается будь спокоен. И еще гаденыша тебе родит». «Я, кажется, желаю смерти ближнему. И даже не одному, а сразу двоим... Нечего сказать, докатился...» – испугался было Вадим, но прежний голос быстренько перебил его испуг: «Ну да, желаешь, и нечего перед собой добреньким прикидываться. Уж какие мы есть...». «Да, да! желаю, желаю, желаю!!!» – мысленно крикнул Вадим незримому собеседнику, не заметив при этом, как трижды с размаху стукнул себя кулаком по колену.

- Господи, только благополучно, только благополучно, Господи, Господи, Господи! – донесся до него мышинный писк.

Подняв глаза, Вадим увидел, что его компаньон стоит лицом стенке и тоже, в такт «Господи», ударяет ее кулаками.

- До чего нынче мужик пошел переживучий! – сказал сквозь зевок девичий голос из-за стеклянной перегородки.

- Ага-а, — так же сладко отозвался другой. — В прошлое мое дежурство один так не руками, а головой о стенку бился. Подошел, да ка-ак боднет! Я ему: «Вы чего, папашка, успокойтесь!». А он опять размахнулся и — бум! Еле с Катькой оттащили, потом валерианкой отпаивали...

- Ну и – скоро родила? — спросила первая девушка.

- Не-а, – опять зевнула вторая. – Я уж уходила полдевятого, а она все не разрешилась...

- А-а... Во намучился мужик. Сильно любит, наверное...

«Любит?! — подумалось Вадиму. -- Нет, тут другое, братцы мои... Из сострадания к другому люди головой в стенку не лупятся. Так можно делать только от сострадания – к самому себе... Чтоб свою боль перебить... Интересно, из-за чего действительно тот мужик бился!».

- Да кончится это когда-нибудь или нет?! — тонким голосом возопил его сосед.

- Папашка, валерианки хотите? — спросили из-за перегородки.

- Не хочу, ничего не хочу, ничего, только благополучно чтобы, благополучно, благополучно... – как заведенный, принялся повторять «папашка».

И в тот момент открылась внутренняя дверь, показался усталый врач в мятом халате. Как во сне услышал Вадим свою фамилию. Он поднял голову, спросил упавшим голосом:

- Что – уже?

- Вот счастливец – уже! – прозвучало рядом завистливое.

- Я вас попрошу ненадолго пройти со мной, – тускло пригласил врач.

Вадим вздрогнул. В нем трепыхнулась дикая надежда: «Никого туда не пускают... Значит... Значит, она умерла или умирает. Неужели это случилось?!». Его взгляд, вероятно, стал на несколько секунд безумным, потому что доктор подошел и дружески положил ему руку на плечо:

- Вы так не беспокойтесь. С вашей женой все хорошо. Нужно только... – он кинул быстрый взгляд на второго страдальца, – ...кое-что уточнить... Сюда, пожалуйста...

Внутренний голос оказался прав ровно наполовину. Юля родила легко и быстро, девочку... Только... В общем, было тугое обвитие пуповины, и ребенка спасти не удалось... Никто не виноват... Он, доктор, сделал абсолютно все возможное, но...

Вадим на минуту окаменел, а потом то ли сам по себе, то ли тот же голос, он не разобрал, произнес: «И на том спасибо». Он так и продолжал сидеть, глядя перед собой остекленевшими глазами — не мог еще поверить, что половина проблем так запросто отсеклась, словно ножом отрезало. Теперь он через месяц пошлет ее к чертям – и забудет свой кошмарный сон. Еще раз жениться?! Нет уж, поиграли и хватит...

Все это смерчем пронеслось в голове Вадима, в то время как доктор сочувственно хлопал его по спине, убеждал, что это никак не отразится на следующей беременности, и они уже года через полтора могут иметь другого, совершенно здорового ребенка, потому что такая досадная случайность дважды не повторяется, а они, в целом, молоды и здоровы...

Юля приходила в себя от потрясения дольше, чем Вадим рассчитывал – совсем не так, как после смерти матери. Она, случалось, пугающе стонала по ночам, катастрофически худела, ежедневно подолгу горько плакала – и он все откладывал объяснение. А когда Юля оправилась понемногу, стала постепенно хорошеть и матереть, внезапно женился старший брат Вадима, привел молодую жену к родителям в бывшую их с Вадимом комнату, и уходить от Юли стало попросту некуда. Решил подождать еще чуток, пока не добьется такой зарплаты, чтоб снимать жилплощадь – и зажили кое-как. Оба с горем пополам закончили институт; Вадиму удалось устроиться клиническим ординатором в хирургию – да там он и остался после ординатуры. Юлю же, за полной ее профессиональной никчемностью, захихнули участковым гинекологом в женскую консультацию, где она обреталась и поныне, причем последние три года без медсестры: та сбежала от безденежья. В результате Юля работала за двоих, а доплату получала... все равно что не получала. Вадим тоже в деньгах не купался, даром что хирург был способный... Теперь замаячила надежда, связанная с готовящимся, как в заморском романе, упасть на голову наследством.

- Скорей бы, скорей бы, – сказал Вадим, думая, что про себя, когда сворачивал в унылый двор меж пяти совершенно одинаковых домов, напоминающих обувные коробки.

- Что верно, то верно, – неожиданно ответила Юля.

...кому что: папе – почти одну заварку, лишь сверху чуть плеснув кипятку; Ленусику – какао, сваренное на сливках, себе — «белые ночи» без сахара, мне...

- Тебе что, прислуга персональная нужна?! Кофейник в руки не взять?

Кофе в семье пью только я. И мне это удастся, потому что пьет также и домработница: еще до завтрака наскоро перекусив на кухне, она выставляет кофейник с остатками на общий стол, и мне разрешается допивать, чтоб добро не пропадало.

- Принцессу вырастили... – бормочет отец из-за утренней газеты.

Мама неодобрительно косится, и лишь Маленькая, весело тараторя, уплетает вкусности, ловко намазывая рогастики маслом. Ее пухленькие лапки мелькают над столом:

вот грациозно зачерпнула варенье, вот пододвинула Папусику сахарницу – словно солнечный зайчик распрыгался.

- Как, детка, в школе дела? – радостно спрашивает мама.

- Ну... – надувает губки Ленусик.

У нее странная манерочка – сообщать о хорошем грустно, чуть-чуть разочарованно, словно обижаясь на то, что выше пятерки оценки нет.

- По географии пять... По истории два раза спрашивали – тоже пять... По русскому диктант писали – пять, а сочинение мы сдали, его еще не проверили... Математичка – злючка... Влепила...

- Неужели – четверку?! – ужасается мама, но тут же спохватывается: – Все же нельзя так про Эмму Карловну, Маленькая...

- Нет, минус... Минус влепила! Только за помарку... А я остороженько, карандашиком... Нуль зачеркнула! – Ленусик чуть не плачет, кончик носика подрагивает.

Мама бросается утешать:

- Пятерка – всегда пятерка. А минус в журнал не поставят... Не расстраивайся, Маленькая...

Папа молча жует и, проглотив кусок, важно кивает жене и дочери. А я уже не могу ни жевать, ни глотать, в желудке подсасывает: я знаю, что дело сейчас дойдет до меня, а у меня четверка – тоже исключение. Только в другую сторону...

Отец с шумом отодвигает чашку, брякает серебряная ложечка. Неторопливо вытирает салфеткой усы, внимательно изучает ее, качает головой, основательно трет снова... И – вот оно: короткий взгляд через стол на мать.

- А Эта своим дневничком похвастаться не торопится... Видать, опять сюрпризы... Скажи Этой – пусть немедленно принесет... А мы посмотрим... Что там за тайны мадридского двора, хе-хе...

- Ты слышала? Быстро неси, – следует лаконичный приказ.

Завтрак для меня закончен, вернее, он и не начинался, потому что с первой минуты я ожидала мига расправы. С тех еще пор завидую счастливым, которые утверждают, будто от волнения испытывают лютый голод и, дорвавшись, много едят. Я же, стоит мне хоть чуть-чуть занервничать, не могу даже думать о еде, а запах любого съестного противен...

Отец брал (не из моих, конечно, рук, а из маминых) принесенный мной дневник, и после следовал скрупулезный разбор каждой закорючки – как моей, так и учительской. Ко мне лично не обращалось ни одного слова, но в течение приблизительно пятидесяти минут мать, испуганно кивая, слушала, что; Эта задалась целью опорочить семью до четырнадцатого колена, мечтая стать, очевидно, дворником; что почерк, каким Эта ведет самый важный в жизни любого ученика документ, одним своим видом уже способен оскорбить того, кто его читает; что следует признать, что Эта делает все нарочно, дабы измотать нервы родителям и посмеяться над ними, потому что нормальный человек после таких неоднократных внушений давно бы исправился; что не столько неуспеваемость огорчает отца – не каждому даны способности – сколько злость Этой, открытый бунт: невозможно за неделю из троечницы превратиться в отличницу, но можно было потрудиться и получить хотя бы несколько четверок – а Эта не пожелала; можно было исправить почерк, не делать из дневника помойку – но Эта намеренно плюет родителям в лицо; иначе, чем плевком, сознательным оскорблением невозможно назвать такое явное свинство...

Все обвинения отец отчеканивал, яростно глядя матери в глаза. Создавалось впечатление, что дневник – ее, оценки – тоже, да и почерк заодно. И тот испуг и отчаянье, постепенно проступавшие на лице матери в виде багровых пятен, словно свидетельствовали о ее непрощенной вине...

- Такие проступки оставлять безнаказанными нельзя. Передай Этой, что она лишается сегодня общения с семьей и не идет в зоопарк (цирк, театр, музей), а остается дома, чтобы подумать над своим поведением и сделать соответствующие выводы...

Теперь, вспоминая те воскресенья, я каждый раз сдерживаюсь, чтобы не

расхохотаться: все-таки невероятно смешно, сидя в двух шагах от объекта, просить ему что-то передать, но тогда факт незамечания просто кровь в моих жилах останавливал, и несколько лет я взаправду считала себя законченным ничтожеством, до какого нельзя опуститься настолько, чтобы обращаться к нему лично.

Честное слово, я не помню, взяли ли меня в результате хоть раз куда-нибудь. Наверное, нет, потому что отчетливо встает в памяти эпизод. Утром Маленькая приостанавливается, пробегая через мою узкую комнату:

- Слушай, посмотри после завтрака мою контурную карту: я там, кажется, напортачила...

- Но ведь мы же на концерт идем?

- А, – легко встряхивает она локонами, – тебя ведь все равно за что-нибудь накажут...

Должна заметить, что наказания как таковые я любила. Домработница уходила к дворничихе гонять чай, а я проводила несколько тихих часов в кабинете отца наедине с книгами. Их, до сих пор не могу догадаться почему, никто не запрещал мне трогать. Любила я книги? Очевидно, да. Друзьями считала? Нет, скорей подельниками.

Ваша фантазия, дорогой друг, может наврать Вам, что именно в те часы, одиноко сидя в отцовском кабинете, всеми отвергнутая, гонимая, гордая девочка предавалась отчаянным мечтам о том, что, когда она вырастет, то непременно «добьется» и «докажет»; что горькие мысли о «ненужности», «заброшенности» вызывали на ее глазах кипящие слезы, остервенело вытираемые сжатым кулачком... Бросьте, ничего этого не было. Я просто безмятежно наслаждалась своим обществом, которое и по настоящее время предпочитаю любому другому, тихо радовалась, что меня никто не трогает – и только.

А в восемнадцать лет пришла детская болезнь – скарлатина. Она протекала на редкость тяжело, температура подвалила к сорока и не обращала никакого внимания на аспирин. Я лежала на грани потери сознания, страдая от невыносимой боли в горле и во всем теле. Невозможно было даже сглотнуть слюну, и, когда она накапливалась, я медленно поворачивала тяжелую, горячую, как утюг, голову и сплевывала на сложенную рядом тряпочку. Невыносимо хотелось пить, но этот процесс приносил настолько мучительные страдания, что я предпочитала терпеть. Иногда я, все-таки, наверное, проваливалась в бездну бреда, потому что отчетливо помню, как перед моими глазами голубая занавеска на окне выгибалась парусом и будто освещалась изнутри тусклым светом. Между тем я ухитрялась прекрасно сознавать, что такого быть не может, потому что окно зимой наглухо закрыто и выходит в темный двор-колодец, где нет ни одного фонаря...

Иногда заходила Дина, меняла тряпочку, предлагала воды и заставляла проглотить лекарство. Я покорялась – ведь я была уже взрослая... Потом падала обратно на подушку...

Именно к той болезни и относится последний эпизод моей человеческой слабости в кругу семьи. На четвертый день дело подошло к кризису. Мне стало так плохо, что я уж решила, что умираю. Вечерело. Узоры на обоях – безобидные цветочки – вдруг слились и заплясали по комнате ужасающим хороводом настоящих чертей – с хвостами, рогами и копытами. И сейчас могу поклясться Вам, что глаза у них были фиолетовыми и горели.

«Вот это уже точно бред», – решила я и усилием воли стряхнула его. Все стало на свои места. Рядом никого не было. Сердце колотилось от жара, меня вело... И я малодушно простонала: «Мама... Мамочка...». Я знала, что даже не шепчу, а просто открываю рот, но ведь есть же твердая вера в народе, что мать услышит своего ребенка, если он в беде – услышит за тысячи километров! Ничего не нужно было, кроме сто раз воспетой на все лады прохладной ладони на лбу, и может быть, как совсем уж высшего счастья, простых слов: «Я с тобой... Потерпи...».

В тот момент я уловила за стеной чье-то короткое рыдание, сразу подавленное, и возликовала: плачут! плачут обо мне! Мама распереживалась, или добрая ласкуха-Ленусик сочувствует... Но тут опять резко качнулась комната, серая пелена заволочла глаза, в ушах запел тоненький колокольчик, меня даже как бы приподняло, и – ужас взвился в душе: смерть!!!

- Ма-ма... – прошептала я, сразу убедившись, что голоса как не было, так и нет. Хотела

добавить «Умираю» – но вышло «У-иа...» – и судорожно задергалась челюсть.

Но мать – услышала.

Дверь мгновенно, с обычным треском распахнулась, и в проеме встала она. Лица не было видно, только черный силуэт. Не знаю, какими силами я тогда удерживалась, чтобы не провалиться в беспмятство навсегда. Мать бурно дышала, голос был полон слез:

- Довела все-таки Маленькую! Рыдает девочка! Впервые в жизни без Дня рождения осталась! Не пригласишь же гостей, когда тут дурацкая скарлатина! Другого времени не могла выбрать, кроме как ребенку любимый праздник испортить!! Добренькая она! Гостинчик больной подружке снесла! А что можно заразиться – того в башке дырявой нет! Что сестренка этого дня целый год ждала, а тут старшая, видите ли, со своими микробами! Ух! – и дверь с пушечным грохотом захлопнулась.

...Отец умер от инсульта, был похоронен и оплакан без меня: я как раз угодила в больницу с аппендицитом. По возвращении с меня как с «отпетой» не спросили ни слез, ни вздохов...

А вот мама умирала мучительно и страшно, когда нам с Ленусиком было тридцать шесть и тридцать три. В час ее смерти я стояла в больничном коридоре, пытаюсь как-то рассортировать внутри противоречивые чувства. Ленусик находилась в палате – мать как призвала ее с утра, так и не отпускала. И вот, заплаканная, очень красивая (Ленусик относилась к той категории женщин, которым слезы исключительно идут) сестренка тихо выглянула в коридор и прошептала:

- Мама... умирает... Хочет видеть тебя... Сказать тебе что-то...

Знаю, друг, о чем Вы сейчас подумали – да Вам и полагается так думать, иначе вся Ваша деятельность теряет смысл. На грани могилы несчастная, конечно, раскаялась, одумалась, ей была открыта ее же руками исковерканная жизнь старшей дочери, и умирающая шепнула трагическое «прости за все» немеющими бледными губами... Да?

А было вот что.

Я опустилась на колени перед узкой койкой, взяла мамину застывающую руку. Уж свет из глаз ее выкатывался, и они гасли, и коричневая пена вскипела в уголках очень красных губ (она с утра попросила Ленусика исполнить последнюю прихоть – накрасить ей губы) – но мама сумела прохрипеть:

— Всё – Маленькой... Слышишь, Ты? Маленькой – всё... – и она умерла.

Теперь, очевидно, следует прояснить это «всё». Оно выражалось в солидном наборе фамильных драгоценностей, запертых в инкрустированной шкатулке, в паре десятков картин прошлого века, в мебели черного, красного, орехового и еще других неизвестных пород дерева, в четырех полных сервизах – чайном, кофейном и двух обеденных, сделанных по индивидуальным заказам, гряде столового серебра, причем черенком почти любого предмета можно раскроить человеку череп, бессчетных фарфоровых, бронзовых, серебряных безделушек, статуэток, канделябров, люстр, светильников; в парочке ручной работы гобеленов – это если не считать безделиц типа чернильных приборов, отданных недавно мною на заклятие. Скромные наборчики в антикварном салоне в совокупности оценили в семнадцать тысяч долларов, и на эти деньги я теперь позволяю себе подышать с комфортом в отдельной палате.

Предки мои Национального банка не грабили. При царе-батюшке они честно жили на свои трудовые, то есть на жалованье прадедушки – инженера на Путиловском заводе. Прадедушке посчастливилось умереть по-христиански в самом начале семнадцатого, а дедушка, тоже инженер, остался в его квартире с молодой женой и сыном – моим будущим «Папусиком».

После революции к дедушке сбежали гурьбой овдовевшие и растерзанные сестры с детьми, поэтому, когда квартиру пришли «уплотнять», то уплотнять дальше было некуда даже большевикам: люди жили в чуланах, в коридорах и на кухне. Пограбить в свое удовольствие тоже не получилось: дедушка оказался инженером для советской власти ценным, и его решили пока не трогать, дав соответствующую бумагу, – а потом забыли. Он тоже оказался счастливым – мирно скончался в начале тридцать седьмого своей

смертью. Сестры его умерли с голоду или были убиты в ленинградскую блокаду, дети их поголовно отправились на фронт, где почти все сложили голову, а кто не сложил – те в Ленинград почему-то не вернулись.

Имущество еще несколько пострадало в войну: его пытались обменивать на продукты. Конец попыткам положил случай, когда одной из распухших с голоду моих двоюродных бабушек, поймав ее на рынке с изумрудным браслетом, за который она хотела аж килограмм сала, предложили прогуляться на Литейный. Вернулась она без браслета и сала, после чего предпочла умереть вместе сестрами голодной смертью, но не повторить подобной вылазки...

Когда отец, получивший на всю войну «бронь», приехал опустевший город в сорок четвертом, он нашел квартиру безлюдной и ободранной, но вещи, к его радостному удивлению, по большей части сохранились: их было столько, что даже за три блокадных зимы не удалось скормить мебель «буржуйке» – а может, по конец у погибавших страдалиц просто сил не хватило.

Потом заезжали и отъезжали еще какие-то родственники, но к пятидесятому году, когда папа женился, и родилась я, в квартире прочно жила уже только наша семья. Отец стал ответственным работником, одну за другой защитил две значительные диссертации, изобретал, преподавал, писал научные книги.

Другими словами, чего не было в моем детстве – так это внешнего убожества. Меня окружали красивые добротные вещи; пища вся не съедалась, чуть залежавшаяся – без жалости выбрасывалась; платья никогда не протирались и, тем более, не перешивались, пальто не перелицовывались. Мама не знала домашнего рабского труда – не привыкли к тому и мы с Леной.

Относительно меня папино пророчество не сбылось: в дворники я не попала, а была запихнута в институт, где меня натаскали на учителя английского. Но и Ленусикова золотая медаль не сделала ее научным светилом: она закончила тот же институт, но другой факультет, и всю жизнь преподавала биологию в вечерней школе для трудящейся молодежи.

Вообще, по-моему, ни из одного золотого медалиста – а их мне довелось повидать десятка полтора – ничего по-настоящему путного не вышло. Зато из безнадежных троечников и показательных классных чучел часто получаются замечательные явления, вроде изобретателей машины времени. Один из них, помнится, на полном серьезе приглашал меня принять участие в испытании таковой, не на сто процентов, правда, гарантируя, что вытащит меня обратно из Древнего Египта, куда уверенно обещал забросить...

Ирина Викторовна и Юленька вышли в чахлый больничный садик. Племянница заботливо поддерживала тетку под локоток и укоризненно приговаривала:

- Тебе бы лежать лучше, тетя Ира! И зачем я только тебе свой плащ принесла! Ты ж говорила – на балкончике сидеть!

- А я вот на природу рвусь, – закончила Ирина. – Не понимаешь, что ли, глупая?! Это ж моя последняя весна – что на нее из окна-то любоваться! Нет, пока ноги держат, я уж...

- Опять за старое! – возмутилась Юля. – Самой лучше гораздо, а все в покойницы записываешься... Радовалась бы!

- Так я и радуюсь, – усмехнулась тетка. – Ты еще не знаешь, какая это радость. Вот сама помирать станешь – тогда...

- Тьфу ты... рядом с тобой даже неуютно как-то...

- «Вздыхать и думать про себя: когда же черт возьмет тебя!» – конечно, неуютно, а ты как думала? – гнула свое Ирина.

Они осторожно зашагали по узкой дорожке, по которой там и тут были понатыканы лавочки для догуливающих свое раковых. Апрель стоял удивительный, листья распускались с утроенной скоростью, и жаль было думать о том, что сделают с ними какие-нибудь внезапные заморозки. Ирина Викторовна детски радовалась доставленным,

наконец, туфлям и плащу и почти беззаботно вышагивала, неся на еще более пожелтевшем лице благодушно-мечтательное выражение.

Юля прикидывала, как еще раз забросить удочку насчет ключей от квартиры, только думала она не о «вольве», а о том, что за квартиру они не платили больше года, и как раз накануне пришла грозная бумага, где открыто грозили судом, а в долг двум нищим на грани развода никто из знакомых давать не собирался... Кактусы отпали – оставалось другое больное место – кошка Зайка, отвратительный капризный альбинос, жрущий только сырую рыбу и курятину. Юля ломала голову – что же такое может срочно потребоваться Зайке, что неоткуда взять, кроме как из теткиной квартиры но в голову, как назло, не приходило ничего путного: тетка даже за плащом ее в свой дом не послала, а велела принести «что постарей» из ее, Юлиного, гардероба...

«И ведь не выбросишь прямо сейчас проклятую скотину! – жалела Юля. – Чего доброго, эта сбрендившая мегера потребует доставить ее на свидание в больничный сад!». И тут же, словно подтверждение Юлиному благоразумию, мегера заканючила как раз о своей «котярушке», слово в слово повторив то, что Юля успела представить:

- У вас же с Вадиком машина есть. Вот поедете ко мне в следующий раз вдвоем – так и привезите, что вам стоит. Зайка машину хорошо переносит. А я ее хоть поглажу напоследок, беленькую мою...

«Вот ведь! – пообещавшись, подумала Юля. – Ни к одному человеку в жизни не привязалась, а кошку, как ребенка, нянчила.. Мразь такую... И это еще вопрос – удастся ли Вадьку уговорить навестить старуху: он ведь ее на дух не выносит...».

Вадик находился для своей жены в положении точно таком же, как и Зайка – только он пока об этом не знал. Юля давно и бесповоротно решила развестись с ним, но считала нужным осторожничать до смерти тетки: старая дева была «с прибабахом», и никто никогда не знал точно, какой номер она может выкинуть. Юля считала, что обойденная жизнью пятидесятилетняя женщина, возможно, потому и оставила ее единственной наследницей, что думала, будто поможет молодой, скромной, любящей паре победить в смертельной схватке за жизнь. Стоило пока периодически предьявлять ей, как и Зайку, вежливого заботливого мужа – для того он и нужен был ещё Юле. Разведись она сейчас «с этой сволочью» – и неизвестно, что стукнет тетке в голову. Вдруг решит, что Юля – легкомысленная и «профинтит» свалившееся богатство на тряпки, мужиков и «легкую жизнь» (что, собственно, она и собиралась сделать). Возьмет, да и успеет переписать завещание на Общество Охраны Животных!

Пример такой был уже – несчастье случилось с Юлиной коллегой по работе – только пример с противоположным знаком. Коллега, наоборот, была одинокой и несчастной – и прабабка записала на нее квартиру. А девушка возьми – да и замуж выйди. И что маразматичка сделала? Переписала квартиру на другого правнука – беспутного пьяницу, ничтожество и шалопая. Извиняясь, она мотивировала свой поступок так: «Ты, Маша, теперь женщина замужняя, будущее твоё обеспечено, о тебе муж заботиться обязан, – (видно, что с дореволюционным подходом смотрела на брак). – А Шурик – ему надо на ноги встать. Он оттого и разбросанный такой, что ему в жизни не везло. А теперь, как свое жильё появится – он остепенится, женится, детки пойдут, другим человеком станет...». Прабабка через год отправилась к прадедке, квартиру получил правнук, пропил ее за месяц, да еще и половины денег задаром лишился. Где-то в кабаке начал спьяну потрясать пачкой «зелени» – за ним оттуда вышли, стукнули по голове монтировкой и обобрали — спасибо, хоть жив остался. Коллегу Юлину муж еще через год с детьми-двойняшками бросил и с тех пор от алиментов скрывается, а она по-прежнему в коммуналке... Так что рисковать Юля ни за что не хотела, Вадика следовало пока придержать, хотя и сам он теперь, как всерьез запахло большими деньжищами, шелковый стал, по струночке забегал... Юля чуть не плюнула прямо на дорожку при воспоминании о нем, но вовремя сдержалась – что тетка подумает...

Но представлять мужа без позова на плевки Юля не могла уже много лет. Она ненавидела в нем все – да нет, не ненавидела, много чести – брезговала.

Юля выходила замуж, думалось ей, по любви. Это сейчас, в тридцать четыре года, она понимала: какая там любовь в восемнадцать лет! Девчонка глупая, вертихвостка, с вечной смешинкой во рту... А он ухаживать стал – красивый парень, постарше, посолиднее, армию прошел – не то что прыщавые сопляки-одногодки. Влюбилась, конечно, навоображала себе... Мать была против, деятельно отговаривала, но использовала доводы такие затертые («Проверь себя, дочка, не торопись, он тебе не пара»), что становилось скучно и муторно. А лучше б дала пару звонких оплеух, да и сказала: «Еще раз услышу про эту блажь – голову оторву, ясно?!». И вопрос был бы исчерпан, потому что Юля всегда и во всем отчаянно трусила, просто настолько ловко это скрывала за напускным апломбом, что матери и в голову не пришло пугать ее такими дешевыми приемами. Между тем, только это тогда могло подействовать на дочь, чрезвычайно тряскую за сохранность своей персоны... Но мать не стукнула ее, а лишь плакала по ночам. Юля слышала и злилась... Вот и оказалась за Вадиком, очень скоро поняв, какую ошибку совершила. С первых дней Юля заметила – раньше-то не до того было – что у него нет ни единой своей мысли, никакого собственного мнения. До свадьбы ей нравилось, что жених, например, сыплет цитатами из классиков, она поражалась такой начитанности и только потом поняла, что, начитавшись по уши, надо из прочитанного что-то и вынести для себя лично! С Вадима все скатывалось, как вода с вынырнувшей утки. У него напрочь отсутствовало минимальное абстрактное мышление, даже в речи редко попадались предложения более чем с одним придаточным. Он был прост, как мятный пряник, но при этом считал себя необычайно развитым, тонко чувствующим эстетом... Юля всерьез задумалась о разводе, но тут, на беду свою, забеременела...

Беременность протекала страшно, ей на голову свалились поочередно оба токсикоза, она ноги еле переставляла, иногда и вовсе встать не могла. До сих пор, когда Юля вспоминала те месяцы, нее нехорошо холодело в животе, и она думала, что, если и есть где-то ад, то навряд ли там будет хуже... И что же? Рядом был любящий муж, надежда и опора? Как бы не так! Он ее обрюхатил и он же ею стал гнушаться! Юля ясно читала на его лице ужас и отвращение, сначала когда ее рвало, потом когда раздуло от водянки. Он едва мог находиться с ней в одном помещении, даже спал на кухне, на раскладушке, притворившись, что это ради нее – чтоб ей-де просторней было! О, конечно, Юля знала, что выглядит плачевно и жалко – но она-то не была виновата! А муженек шнырял по комнате, боясь и взглянуть лишний раз! Она не хотела его мучить, ей и нужна-то была самая малость: чтоб кто-нибудь близкий, родной (в те дни как-то забылось, что он дурак, помнилось только, что никого, кроме него, в жизни просто нет) подошел бы, сел молча рядом, погладил по руке или сказал: «Я тебя любую люблю, а это все пройдет». И когда, совсем изнемогая, Юля взмаливалась изредка: «Побудь со мной!» – встречала непроницаемый взгляд, видела, как досадливо кривятся губы, и муж шел к ее кровати, как принц крови на эшафот... Нужно ей было такое сострадание! И Юля говорила: «Да нет, иди, это я так...». Она знала, что другие мужья носятся по городу, чтобы достать беременной жене помидоры в марте – а Вадик даже курицы простой не сварил ей ни разу – а как ей хотелось хлебнуть тогда теплого бульона! Ей казалось, она сразу выздоровеет! Однажды Юля отважилась попросить, а Вадик спокойно ответил: «Ты же знаешь, что у меня нет времени стоять в очередях, сессия на носу». Все пичкал ее картошкой в мундире и жилистыми пельменями – и еще удивлялся, почему тошнит...

Юля вела себя ангельски, ни на что не жаловалась, ни разу не упрекнула, а он и рад был, что она ничего не просит: не просит, значит, не нужно. А ведь деньги его родители регулярно подбрасывали...

Пришли однажды к ним в гости Вадкин армейский приятель с женой. Она тоже была на сносях, но чувствовала себя великолепно – уверенная, разряженная, как елка, и раскрашенная, как матрешка. Юля и подняться не смогла – так и принимала гостью лежа, пока мужья на кухне водку пили. Она впервые пожаловалась на жизнь постороннему человеку, откровенно рассказала неблизкой приятельнице о всех своих муках... И Надя вдруг улыбнулась. По сей день Юля помнит эту кривую, жуткую улыбку. А потом тихо и

ласково, даже бархатно, как кошку гладила, заговорила об ужасных вещах:

- Ты, Юля, человек наивный. Ты чего ждешь-то? Любви, никак? И думать забудь. Потому что никакой любви между мужчиной и женщиной нет и в принципе быть не может. Мы с ними враги, Юля, враги непримиримые. Ха, помнишь, как у Адама с Евой вышло? Она его действительно соблазнила, а он-то что сделал? А он ее – сдал. Думаешь, она ему простила? Брось, Юля, мы их, а они нас ненавидят на самом деле. И все потому, что не можем друг без друга обойтись – нас, видишь ли, передом тянет... Вот... И женщина превращается после этого в каракатицу, проглотившую футбольный мяч. Ты со стороны взгляни на себя и скажи честно: можешь ты сейчас у нормального человека симпатию вызвать? То-то и оно. И мужчина отшатывается, потому что зрелище-то страховатенькое... Так что покончи с иллюзиями: любовь это не более чем изобретение: ах, мы же не зайцы, чтобы спариться и разбежаться, нам облагородить свое скотство надо! А когда дело, ради которого весь сыр-бор и был затеян, сделано, то трудиться больше незачем... Запомни, дурочка моя маленькая: человек может положиться только на одного человека: на себя самого. И пока ты этого не поймешь, а будешь ждать, что кто-то ради тебя, любимой, начнет ломать свое естество – быть тебе абсолютно несчастной. Только тот счастлив, кто ни на что не надеется и ничего ни от кого не ждет. Потому что страдаем мы на самом деле не от чужой гадости, а от собственных разбитых иллюзий... Вот я, например... Мой сукин сын как на меня взглянет – так у него рожу перекосит. Помнит, какой я раньше была... ланью... А теперь – ценная сука, и он мне никогда этого не простит. Правда, я ему тоже. Мок совет, искренний, как подруге по несчастью: плюнь от души, тебе сразу во сто крат легче станет...

И вот этот последний совет Юля приняла к сведению на всю жизнь. Вспоминая Надю, которую с тех пор больше не видела, но иногда прямо в этот момент ее совету и следовала – действительно облегчало, да еще как!

Ребенок родился мертвым, все ее нечеловеческие страдания пошли прахом, а муженек явно обрадовался: отложены на неопределенный срок пеленки, соски и недосыпание. В роддоме Юля решила было развестись немедленно по выписке, но неожиданно для себя тяжело, по-черному загоревала. Даже не по ребенку – по себе, по своей молодости, по дури собственной, по зряшным мукам... Сначала страшно показалось наедине со всем этим набором остаться в квартире, а потом – пообвыкла: коли без мужчины все равно не проживешь, не чурка ведь она с глазами, так зачем шило на мыло менять?

- Ну, спасибо тебе, Юленька, что выгуляла меня, – сказала вдруг позабытая племянницей тетка. – И так хорошо ты молчала, что я себя совсем легко почувствовала – будто одна бродила... Ну, что? Устала? Пора тебе?

Они стояли уже у крыльца перед входом в больницу, и Юля, спохватилась, что и правда не развлекала тетку, как положено больных, а просто водила, как старую глухую собаку... Она смутилась.

- В следующий раз с Вадиком приходите, – распорядилась Ирина, а Юля поежилась: «Как чувствует!» – Вот уж и другой посетитель ко мне идет, до палаты с ним доберусь...

«Кого еще принесло, кто ее обхаживает?» – встревожилась Юля, озираясь. Она заметила на дорожке только молодого человека с бородой, и сердце екнуло: вдруг еще один родственничек подкапывается? Иначе молодому такому парню что у этой перечницы делать?

- Иди-иди, – подтолкнула тетка.

Пришлось целовать, обещать, называть «тетечка Ирочка», а потом покорно шагать прочь к воротам. Она не смогла не обернуться. [Молодой человек, благостно улыбаясь, уже транспортировал тетку вверх по ступеням. Он вел ее даже более осторожно, чем того требовало обращение с труднобольными, и что-то смутное почудилось Юле.

«На попа, что ли, смахивает?» – мелькнуло у нее.

Лизиска привыкла. Она уже без колебаний вылезала на условный звук – поскребыванье и застывала в ожидательной позиции напротив хозяйки. Ирина убеждала себя, что на

мордочке животного порой появлялось дружелюбно-сочувственное выражение. Скоро крыса стала терпеливо позволять себе гладить – о том, чтобы укусить, она, вероятно, больше не помышляла – и стойчески сносила даже ветеринарные осмотры со стороны хозяйки, коим та ее периодически подвергала.

- Растет или не растет? – задавала вопрос Ирина, имея в виду Лизискину опухоль.

Опухоль не росла, но заметно твердела, и часто зверек болезненно вздрагивал под чуткими пальцами, чего раньше не было. Из этого человек сделал вывод, что появились боли – болезнь прогрессировала. Умная крыса не вырывалась, молча терпела, зная, что за издевательствам последует вожаденная награда в виде рассыпчатого пряника или того изумительного желтого лакомства...

Вскоре Лизиска перестала убегать сразу после ужина и, умело натасканная, приучилась забираться в кровать Ирины, где тихо копошилась, задевая ее ноги прохладным щекочущим хвостом или быстрыми колючими лапками. Потом начинала беззастенчиво тыкаться мордочкой прямо в лицо благодетельницы, а та разговаривала с ней о том, что, по ее разумению, могло заинтересовать крысу:

- Вот завтра Юля придет и принесет тебе еще сыру. И колбасы принесет. Копченой. А почему ты все сразу съедаешь, а? С собой не тащишь? У тебя что, крысят нету? Знаешь, приходи-ка завтра пораньше: когда тебя долго нет, мне кажется, что ты уже сдохла где-нибудь в уголке и вообще никогда не придешь... А теперь ступай: мне еще отцу Димитрию писать это... исповедь. Не знаю, какие у тебя проблемы, а уж такой точно нет, – и она аккуратно спустила зверя на пол, утешив на прощанье последним гостинцем, ради которого, крыса, собственно и соглашалась задерживаться и выслушивать хозяйские бредни...

Ирина Викторовна действительно писала исповедь. Вернее, откровенное письмо, потому что исповедоваться, по сути, права не имела, не будучи крещеной. Оттого она и называла в зеленой тетрадке священника не «батюшка» и не «отец Димитрий», а «дорогой друг» – и сама себе удивлялась: как это ей вдруг захотелось и до сих пор хочется вывернуться наизнанку перед малознакомым, да еще и очень молодым мужчиной: о.Димитрию едва перевалило за тридцать. Ирина полагала, что наткнулась на него случайно и сначала даже злобно забавлялась про себя, честно описывая ужасы своего детства, но незаметно вошла во вкус и начала исповедоваться со вкусом, не щадя ни себя, ни неопытного батюшку.

...На второй или третий день в клинике, когда Ирина шла по коридору с кружкой кипятка для заварки, краем глаза она вдруг уловила шепот двоих сестричек:

- Вон, вон та!

- Которая?

- Да в синем халате, высокая!

- Надо же, а так посмотришь – сразу и не подумаешь, что попадья...

Ирина механически проследила их взгляды до места, где они скрестились, и в точке пересечения увидела худую красивую девушку, похожую, скорей, на актрису в санатории, а не на попадью в онкоклинике. Она была аккуратно, как на выход, причесана, блестящие каштановые пряди лежали замысловатой причудливой волной. Руки и шею ее – у единственной во всем отделении! – украшали большие бирюзовые кольца, браслеты, серьги и бусы. Халат казался разновидностью вечернего платья – и не синий, кстати сказать, а небесно-голубой, глубокого, волнующего цвета. До сих пор представление Ирины о «попадье» ограничивалось видением аляповатой куклы на ватине, что сажается в мещанских домах на чайник, дабы он дольше не остывал... И глаза Ирины мимоходом сверкнули быстрым любопытством.

А вечером она, положившая себе не заводить новых, тем более не нужных в ее крайнем положении знакомств, уже разговаривала в общем туалете с этой девушкой, сказать про которую не то что «попадья», но даже «матушка» казалось смешным и неприличным.

Именно в тот вечер в палате Ирины сломался бачок в уборной. Починить посулили

только наутро, и пришлось, волей-неволей, подавив брезгливость, тащиться в общедоступный туалет на другом конце коридора. Войдя, она сначала остолбенела, но потом, напомнив себе, что давно решила ничему не удивляться, как ни в чем не бывало, проследовала в кабинку. Строго говоря, удивляться было чему: между окном и кабинками неумело спряталась попадья и жадно, по-мужицки курила, воровато оглядываясь на дверь, чтобы убедиться, что вошла не медсестра. Ирина вышла из кабинки и, пожав плечами, стала невозмутимо мыть руки: что ей за дело, в конце концов, до того, что матушка, мягко говоря, нетипичная. Она уже собиралась равнодушно удалиться, когда вдруг услышала вызывающий голос:

- Тоже удивляетесь? Попадья, а курит, да? Вам ведь уже сказали, кто я? Все отделение, как на экспонат, смотреть ходит...

- Курите себе – и курите, – безразлично отозвалась Ирина. – Вы свое здоровье губите, не мое. С моим и так все ясно.

Очевидно, девушка инстинктивно почувствовала, что равнодушие этой больной – подлинное. Не то, что у других, когда сквозь него все время прорываются косые любопытные взгляды: «Смотри-ка, попадья! Интересно, какие они, попадьи-то?». Вот такого искреннего равнодушия она и не вынесла, а может, просто беспокойство (отделение раковое, кто здесь в мире обретается!) искало выхода. Попадья сказала:

- Хотите? – и протянула Ирине пачку, где оставалось уже совсем немного сигарет.

Озорной восторг обдал Ирину теплом:

- А что! – неожиданно для себя согласилась она. – Мне уже ничто не повредит... – и пояснила: – Рак легкого, так что все можно, – и смело вытянула длинную коричневую штучку, называвшуюся, очевидно, сигаретой.

Затянулась – и голова сразу приятно поплыла: Ирина не курила вот уже пять с лишком лет.

- Приятные, – с удовольствием призналась она, и попадья увидела на ее лице выражение, которого, кроме нее, в больнице ни разу не заметил никто: Ирина ласково улыбнулась и глянула блаженно.

«Если вместе куришь, так нужно же о чем-то и говорить», – вероятно, решила попадья и сказала:

- Вы не удивляйтесь... Я вообще-то не курю, а тут вот разнервничалась. Давно курила, бросила, – она усмехнулась, – статус вынудил. – А здесь захотелось – просто нестерпимо. Я и купила внизу, в кафе, там для врачей продаются... Дергаюсь я, понимаете...

Стало очевидно, что она ищет толчка, чтобы высказаться. Ирина с готовностью поддержала тему:

- Рак? – напрямик спросила она. – Впрочем, что я спрашиваю, здесь у всех одно и то же.

Она понимала, конечно, что буквально оглушила собеседницу коротким словечком, но ей стало весело, она словно опьянела от сигареты. Благочестивой матушке следовало отшатнуться и приняться с жаром за доказательства что нет, не рак, во всяком случае, вздрогнуть, возмутиться бестактностью.

- А кто его знает? – она с силой выдохнула дым через нос. – В груди уплотнение.

- Отрежут, – позлорадствовала Ирина, азартно стремясь пробить чужую броню.

- Может – да, а может – нет, – загадочно бросила попадья.

Она ничуть не выглядела обиженной.

Ирина восхитилась такой выдержкой:

- Слушайте, девушка, или как вас там, матушка – а вы мне, честное слово, нравитесь!

Та усмехнулась:

- Нравлюсь? Вот те на. Вес больше осуждают. И выгляжу не так – страшно сказать, брюки иногда ношу! – и говорю неладно. Как моего на приход отправили, я в первый раз прихожу к нему, свечницу спрашиваю – где отец Димитрий, я его матушка. Так она, бедная, так на стул и опустилась. Видно, ноги ей подкосило. И, главное, сказать ничего не может, только рукой машет – там мол... Я для своего мужа – позорище...

Разговор начал всерьез интересоваться Ириной:

- Вы что это, специально, что ли? Извините, мне так показалось

- Да нет, не знаю, – задумалась матушка. – Просто не верится, что все это надолго. Годик-другой муж потешится, и...

- Что вы имеете в виду?! – изумилась от души Ирина. – Что значит – потешится? Я хоть и неверующая, ну, почти, но священников все-таки уважаю. Думала всегда – хоть они-то верующие... Ну, вам лучше знать... Интересное дельце выходит – что у нас за духовенство!

- Да разное у нас духовенство! – отмахнулась попадьа. – Это у меня муж чокнутый.

- Что вы такое говорите! О муже! Жена священника! – инстинктивно испугалась Ирина: она шестым чувством почуяла, что происходит в прямом смысле черт знает что.

- Да то и говорю! – вдруг вскинулась «жена священника»; она тяжело задышала, явно борясь с собой, секунду словно колебалась, но потом внутри у нее, должно быть, произошел короткий болезненный взрыв, слова рванулись наружу и понеслись, в беспомощной панике обгоняя одно другое:

- - Да то и говорю... Вы же ничего не знаете... Хотите, расскажу?.. Хотите?.. Слушайте... Я выходила замуж за атеиста – и сама была атеисткой. Десять лет назад. Но мужа обожала, в рот ему глядела и ловила каждое слово, как... галчонок... Значит, так. Сначала мы читали модные медицинские книжки. Знаете, какие шарлатаны пишут? О том, как организм чистить. Мы, видите ли, были помешаны на здоровом образе жизни. Вино – ни-ни, сигарета – преступление... Зато мы пьем лимонный сок по системе и лежим рядышком с грелкой под боком... Это мы печень чистим. А завтра – позвоночник. Не помню, какой дрянью. Потом воду пьем литрами и рвоту вызываем – правильно догадались, желудок. Клизмы ставим – кишечник... У меня до сих пор при слове «клизма» спазмы, извините, делаются... Мы еще отвар лаврового листа – гадость невероятная! – глотаем. Это, кажется, суставы. Ах да, еще апофеоз – арбузотерапия! Сидишь, как скотина, в теплой ванне восемь часов и непрерывно поедает арбузы – с тех пор я их, естественно, ненавижу. И, простите, ходишь под себя... А раздельное питание! Ха! А душик холодный! В январе! А босичком по снегу вы не бегали? А стоя на этом снегу ведро воды со льдом на себя не выливали?! А я все это прошла: я, видите ли, любила своего идола, он мне казался страшно умным... Дочку первую заставил, гад, в воду рожать, сам роды принял и ни одну акушерку близко не подпустил. Я чуть не загнулась прямо там, в ванне, но ничего, молчу, думаю, что так и надо. Муж у меня умный, знает, что делает... Ладненько, живем дальше... Тут встречается мужу на улице придурок в белом балахоне, суёт какую-то литературу. Он ее три ночи изучает, потом все наши прежние книжки-брошюры с утречка на помойку выносит, а мне заявляет: мы, раньше, оказываемся, неправильно жили: мы о теле заботились, а оно – тлен, тьфу. Теперь мы будем заботиться о душе. Тут женщина, оказывается, есть – вот ее портрет, красавица, – так она – воплощение Христа на земле. Ее так и зовут: Мария-Дэви-Христос. Теперь мы начинаем жить по-новому... Ну, по-новому, так по-новому, я все еще мужу верю... Итак, мяса мы не едим, ходим на какие-то жутковатые службы, где нас пичкают чем-то странным, от чего голова кружится, супружеские отношения прекращаем: грех, оказывается. Через год – Страшный Суд и конец света, надо к нему готовиться. Готовимся. И ребенка своего вовсю готовим – и главное с восторгом, безо всякого страха... Спим в разных постелях. Ну, моего мнения он, конечно, не спрашивал – нужно, и баста. Ему вообще не приходило в голову, что у меня могут быть какие-то мнения: я его отражение – и все тут. Наконец, Белое Братство разоблачают, Марию сажают, у мужа глаза открываются: это, оказывается, были слуги дьявола. Мы промашечку дали, говорит Димочка, теперь давай уж точно Богу служить, давай людей лечить... Я, как флюгер, поворачиваюсь опять в другую сторону, и главное, мне кажется, что это я сама так думаю, решение принимаю... И куда мы идем? Правильно, на курсы экстрасенсов. За два года проходим две инициации... Объяснить, что это такое? Не надо? И слава Богу. Нам обоим третий глаз открывают, и начинаю я людей насквозь видеть, как прозрачных. Все болезни на ладони, я их вытягиваю и выбрасываю – особая техника есть, чтобы к самой не прилипли... В постели дело возобновляется,

рождается сын. Вам еще не скучно? И вдруг – муж опять мрачный приходит. Оказывается, мы снова не туда влипли! Ему добрый человек единственно правильный путь показал: приятель «Агни-Йогой» увлек. Всё бросаем, едем в Индию... А там какой-то чудик попадает, проповедует, что он Мессия. Бриллианты из воздуха достает и всем дарит – честное слово! Мы за ним, куда он, туда и мы. Всю Индию изъездили. Опять какие-то моления, бдения, собрания, завывания... У меня в голове уже все смешалось... И так проходит еще года полтора. Возвращаемся в Россию в приподнятом настроении. Едем на Смоленское кладбище могилу бабушки в порядок привести. А там – часовня Ксении Блаженной. Все заходят – и мы зашли. Стоит священник. Мужа о чем-то спросил, тот ответил, разговорились. Я уж и ждать устала, вышла, на воздухе стою. А мой появляется как по голове стукнутый. Опять, говорит, ошибочка вышла, нужно в Православие обращаться. Нужно так нужно, назавтра идем креститься. Дальше что начинается! На молитву в пять утра. Сидим на сухоядьне. Я сама на мощи похожа стала. Псалтирь каждый день – по три кафизмы на брата, еще пяток акафистов. Причащаемся каждое воскресенье. После вечерних молитв еще по двести земных поклонов кладем, чтобы, значит, в плотский соблазн не впасть: христианину подобает воздержание. Как я последнюю дочку родила – не знаю, будто ветром надуло. А мне уж ничего не надо было, я ни о чем не думала, кроме как в обморок в общественном месте не упасть. Дома со мной муж не разговаривает: многословие тоже грех; молчит, как убитый, смотрит исподлобья, книги толстые читает... А у меня чуть мозги от всего этого набекрень не съехали... Однажды сообщает: я в семинарию поступаю. Я уж ничего не отвечаю, у меня уж голова трясется... Но поступил – и полегчало, слава Тебе, Господи... Он там хотя бы от фанатизма излечился (там не только от фанатизма, там вообще от христианства излечиться можно, в нашей-то семинарии) – по крайней мере, не намекает мне, как бывало, чтобы я вериги носила. Дает жить, как хочу – не до меня стало, особенно после хиротонии... А я уж ничего не знаю и ни о чем не думаю – только иногда – что следующее? Может, он в ислам переметнется, гарем заведет, и буду я старшей женой, а?! – и резко оборвался удивительный рассказ попадьи.

- Вот это да, – только и сказала Ирина и, помявшись, поинтересовалась: – Слушайте, а почему вы его раньше еще не бросили? Неужели вам нравилось, как, извините, собачий хвост, туда-сюда болтаться?

— Да потому что люблю я его, этого идиота!!! – простонала попадьи, схватившись за голову. – Люблю и поделаться с собой ничего не могу! И трех детей с ним прижила – все от любви-и!! Только не знаю, на каком я свете, где я, мое, и есть ли вообще у меня это мое, или все от него, от извсрга-а!!! А меня, выходит, нету, нету, нету!!!

У Светланы – так звали попадью – действительно не оказалось рака. У нее быстро и безболезненно удалили маленький, с фасолинку, доброкачественный узелок и выписали с миром. Пока Светлана лежала в клинике, ее часто навещал муж, о. Димитрий, и, разглядывая его, Ирина думала, что такого можно и правда запросто любить.

У него было чудное, простонародно-рязанское лицо, украшенное парой добродушных, преувеличенно хлопающих светлых глаз. В ком угодно можно было заподозрить осоловевшего от излишней начитанности русского интеллигента – но не в этом гладком, румянном, абсолютно нетронутом с виду парне. Ему б косу (грабли, лопату) в ухватливые лапищи, обрядить в косоворотку и аккуратно перенести в соцреалистическую картину, на угловатый фон русской деревни времен коллективизации... В больницу о. Димитрий приходил в светском, но подрясник, должно быть, тоже очень ему шел, только выглядел он в нем, наверно, не лощеным столичным, духоведом, а добрым сельским батюшкой, в свободное от служения время радостно пашущим родную земельку.

Поэтому, когда прошедший огонь, воду и медные трубы священник однажды застенчиво появился за спиной своей матушки в двери палаты Ирины, та воззрилась на него с некоторым интересом.

- Ирина Викторовна! – огорченно сказала тогда Светлана. – Муж селедку принес, маринованную. А мне врачи запретили острое. В палате тоже никто не берет. Может,

выручите, съедите, а? – и она показала банку, последний раз глянув на нее с очевидным сожалением, так как селедку очень любила.

- Давайте, я себе ни в чем уже не отказываю, – ответила безнадежно больная, и в добродушных глазах о. Димитрия сверкнул и погас огонек ответной заинтересованности.

Священником он стал совсем недавно и еще не умудрился, не перестал обмирать при виде нераскаянных грешников, абсолютно чужд был пока такому формализму, когда батюшка силком пригибает голову недораскаявшегося к аналою, закатив глаза, бормочет нечто, что должно сойти за разрешительную молитву, а потом украдкой бросает тоскливый взгляд на длинную очередь исповедников.

Отец Димитрий еще горел, искал к каждому особый подход, за что его любили прихожанки; он же больше всего любил не устоявшихся в добродетелях многодетных мам, а раздираемых страстями людей искусства, которых всеми силами пытался от него отвадить, дабы умирить страсти. А еще все время разыскивал безвозвратно погибших. В таких он вцеплялся намертво, искренне стремясь спасти и того и этого и, надо сказать, обязательно добивался одного из крайних результатов: либо за месяц-другой превращал заматерелого во грехе скептика в изможденного постника с отрешенным, взглядом, либо заставлял человека с ужасом бежать от себя и всей Апостольской Церкви без оглядки.

В Ирине Викторовне о. Димитрий с первого взгляда через порог угадал любимого скептика, а после ее короткой фразы – еще и смертника. Соединив то и другое, он пришел к неизбежному выводу, что ее надо срочно спасать – обращать к вере. По его мнению, с ней второй вариант исхода был маловероятен: никуда бежать несчастная явно не успевала.

Священник напрямик приступил к делу в тот же день и порадовался обширному полю для своей деятельности, которое сразу обнаружил в душе умирающей женщины, не просвещенной, к тому же, Святым Крещением. «Спасать, – решил о. Димитрий. – Немедленно спасать», – и, отвезя домой благополучно выздоровевшую супругу, он принялся посещать болящую едва ли не ежедневно. Индивидуальный подход искать не пришлось: прослушав его первую ненавязчивую проповедь, скромно прочитанную им в ногах ее кровати, Ирина Викторовна сказала:

- Хватит. Это я и без вас знаю, – и предложила: – А давайте я лучше вам сама все напишу, а вы решите, как со мной быть, ладно? – и они подружились.

Священник навещал Ирину, носил ей постные, но вкусные гостинцы и читал понемногу Евангелие. Его личных измышлений больная слушать не пожелала, всякий раз останавливая робкие попытки батюшки развить ту или иную мысль небрежным: «Бросьте, больше того, что здесь написано, вы все равно ничего не выдумаете».

Зеленая тетрадка, обещанная ему, заполнялась достаточно медленно, между тем как о. Димитрий не преминул поинтересоваться у лечащего врача – много ли еще времени осталось больной упражняться в эпистолярном жанре. Получив ответ, он решил как-то форсировать события, сделал несколько прозрачных намеков, щедро снабдив их цитатами из Отцов – но будто натолкнулся на железобетонную стену. Волей-неволей пришлось ему положиться на Промысел Божий – а дни проходили, Ирина заметно слабела, любовалась апрелем уже только с балкончика, а к Вербному Воскресенью уж и вовсе перестала вставать.

По неумолимой логике событий Вы теперь ожидаете, друг, трогательного рассказа о первой юношеской любви. О робкой записке, прилетевшей в качестве утешения на безнадежной контрольной в десятом классе, о застенчивой встрече под школьными липами, о долгих прогулках по невским набережным, нескончаемых прощаниях у подъезда, зардевшихся щеках, девичьих слезах – в подушку, а наивных стихах – в сокровенную тетрадку... Пора бы, правда?

Прежде, чем я расскажу вам, как все было на самом деле, вы должны четко представить себе мой тогдашний портрет.

Это сейчас я ношу линзы, и никто не догадывается, что у меня минус шесть, а в те годы, предназначенные природой для первой любви, мое чело украшали очки с

двоковыпуклыми стеклами, сквозь которые глаза представлялись другим неправдоподобно мелкими, как у летучей мыши, и лишенными всякого выражения. Волосы упорно отказывались расти и имели цвет золы. Две жалкие косицы походили на лохматых гусениц, кроме того, по всей голове рос пушистый подшерсток, как у молодой собаки – и в результате отовсюду торчали коротенькие неуправляемые лохмы. Угри на лбу и носу – длинном и унылом – не поддавались никаким средствам, и вскоре я махнула на них рукой. Перерастить отметку полтора метра в длину я едва смогла, зато конечности мои можно было бы смело приладить, в случае моей безвременной гибели, какому-нибудь баскетболисту, по недоразумению их лишившемуся...

Я все время что-то роняла – и обязательно неудачно, проливала пачкающие жидкости – и всегда на себя. Мои попытки сделать кому-то минимальное доброе дело оборачивались, в лучшем случае, медвежьей услугой другому, а чаще – откровенным и смешным вредом самой себе. Училась я плохо; вызванная к доске – потела тошнотворными для людей крупными каплями... Добавьте ко всему этому еще мрачное школьное платье и черный передник «с крыльями» – и представьте душевнобольного извращенца, с замирающим сердцем бродящего под моим окном на седьмом этаже...

Считается, что девочки часто после школы «выправляются», вчерашние дурнушки вдруг расцветают розовым цветом юности и свежести, приобретая присущую всему живому брачную окраску. Со мной такой метаморфозы не произошло и в институте. Я, конечно, состригла свои «гусеницы», превратив голову в непотребное воронье гнездо, начала неумело припудривать прыщи, отчего нос приобрел зловещий маскарадно-фиолетовый оттенок. Но к тому моменту, как угри сошли, оставив после себя рубцы, а волосы загустели, не изменив, правда, своего цвета, со мной все было уже кончено: я кое-как получила диплом на нашем стопроцентно девичьем факультете и была по распределению направлена учителем английского языка в типовую школу на окраине города, где выкрашенные в пугающий синий цвет «рекреации» нестерпимо воняли уборной...

Положение преподавателя языка в любой школе всегда на 50-66% лучше, чем у любого другого предметника. Вы знаете, что неизвестно почему для лучшей усвояемости знаний считается необходимым в простых школах делить класс для уроков иностранного надвое, а в специализированных – аж натрое. Поэтому (школа была английская) вместо сорока неуправляемых балбесов передо мной всегда сидело лишь тринадцать-четырнадцать. Чем это лучше для них, я до сих пор не знаю, но то, что мне приходилось испытывать стрессовое состояние в три раза реже, чем другим учителям – непреложный факт.

Научить человека английскому языку по школьной программе принципиально невозможно. В первый месяц самостоятельной практики я это постигла и сразу же запретила себе предпринимать попытки добиться того, чего никто еще не добился. До учеников я упорно пыталась донести только два постулата, чтобы облегчить их будущим репетиторам, если таковые потребуются, индивидуальные занятия перед вступительными экзаменами.

«Английский язык ни капли не похож на русский, – внушала я. – Это абсолютно другой язык, и подчиняется он другим правилам. Поэтому, если вы станете переводить что-либо дословно, то получится полная бессмыслица». Второй постулат заключался в том, что «ключ к английскому языку – это вспомогательный глагол. Игнорируя его, вы никогда не сдадите ни одного экзамена».

Но не было на свете силы, заставившей бы их употреблять короткое «is» перед глаголом четвертой формы, а когда дело со скрипом доходило до совершенного вида, то они из поколения в поколение забывали, что вспомогательный глагол have нельзя переводить емким русским словечком «иметь» – и в результате все поголовно «вчера к восьми уже «имели» свое домашнее задание...». Но чаще они вообще без этого слова легко обходились, и тогда, словно включив магнитофон, я намеренно нудным голосом вопрошала противоположную стенку:

- Что указывает на перфект? – за что и получила пожизненное прозвище, про которое никто никогда не догадался, что применительно к женщине оно означает «Совершенная».

- Перфект идет! – слышала я на подходе к классу и усмехалась про себя.

Особенно забавляли меня контрольные по грамматике, и одно время я даже увлеклась изучением процесса списывания друг с друга и со шпаргалок. Глубинные тайны психологии выплывали на поверхность, когда я наблюдала, например, благополучного ученика с как надо вставленными мозгами. Вот он все уже написал, и написал правильно, насколько я его знаю. Но это – будущая тряпка и подкаблучник, потому что не доверяет сам себе. Он воровато смотрит в тетрадь малоуспевающего соседа, видит, что тот пишет нечто прямо противоположное, делая это очень уверенно. И что же? Зыркнув на меня, «хорошист» быстро вырывает лист, где могла бы завтра красоваться моя тяжеловесная «четверка», и лихорадочно переписывает до звонка откровенную галиматью соседа... Не позавидуешь такому человеку в жизни!

А вот девочка с хорошим открытым лицом и непреувеличенно честным взглядом. Она списала на линейку грамматические схемы и теперь спокойно подставляет в них данные мной глаголы. После урока я скажу ей: «Ты списывала». Последует смелый и откровенный взгляд, бестрепетно скрестится с моим испытующим, и прозвучит потрясенное «Я?!». Такой тон практически невозможно подделать и, если б я своими глазами не видела... Словом, растет артистическая сволочь, о которую многие несчастные разобьют голову. Конечно, я могла бы на следующей контрольной подойти, разоблачить, пристыдить – но тогда пришлось бы кампании ради произвести в классе «внезапный сыч» – а на что мне столбик двоек в журнале?

К девятому классу достигаю с небезнадежными взаимопонимания: «Тройки поставлю всем, пакостить не буду. Но имейте в виду, что язык сдают во всех вузах. Поэтому рекомендую иногда послушать – может, что и всплывет на экзамене». Безнадежные, в основном, после этого вместо моих уроков отдыхают в «клубе "Дымок"» – так называется уютная подворотня рядом со школой, а остальные, по крайней мере, не выматывают мне нервы...

От классного руководства мне всегда удавалось успешно отбояриться – так что лет через пять и приставать с этим перестали; во внутриколлективные разборки между директорским кланом и оппозицией вмешиваться я попросту брезговала. Установила более-менее сносные отношения с парой похожих на меня отшельников, чтобы на большой перемене не являться совсем уж одиозной фигурой, завтракая в одиночестве – и ежедневная каторга понемногу перестала казаться таковой.

Жили мы с Ленусиком и ее гражданскими мужьями до того дня, когда однажды Ленусик умерла. Она так никогда и не вышла замуж по-настоящему – об этом я позаботилась – а весело меняла любовников сначала на стороне, а четыре года после смерти Мамусика — прямо в нашей квартире. Они (любовники) у Ленусика не держались, хотя ловились легко, покупаясь на ласковость и щебетание. Когда же период любования на хохотушку-тараторку проходил, мужчина неизбежно пытался разглядеть человека – и терялся. Создавалось впечатление, что вся Ленусик состоит из кудряшек, лапусиков и котиков, из мило захлебывающихся, словно догоняющих друг друга словечек, утреннего варенья со сладкими булочками и перекочевавшего из детства какао на сливках – и все это лавиной обрушивалось на голову очередного кандидата в мужья. При том Ленусик неизменно умудрялась раздобывать себе интеллигентов, каждый раз поясняя мне свой выбор парадоксальным: «Ах, если б ты знала, до чего я ненавижу посредственность!». А сама после совместного с кем-нибудь посещения театра на самую скромную попытку обсудить игру, допустим, ведущей актрисы, могла отреагировать: «Ах, для чего ей сделали такую вульгарную прическу! И ты заметил, сколько на ней грима?! Стукни по затылку – и посыплется!».

Точно так же после года совместных потуг на создание семьи собрался ретироваться и последний жених – но одно обстоятельство за час круто перевернуло его намерения. Этим обстоятельством оказался разговор с врачом поликлиники в кабинете, из которого только

что выпрыгнула надутая Ленусик и обидчиво рассказала: «Эти врачи совсем ничего не понимают, только говорят глупости и гадости, гадости, гадости!». Жених заглянул в кабинет, быстро представился мужем и поинтересовался «гадостями». Ответ вдохновил его на немедленные действия: по словам врача выходило, что результаты всяческих анализов настолько плачевны, что даже дилетанту ясно: необходимо срочно – речь идет о днях – лечь в онкоклинику на операцию, если таковая еще возможна.

Гипотетический мой зять развернул передо мной всю эту перспективу и сообщил, что намерен немедленно сделать моей сестре предложение, с целью утешить ее в мучительной болезни. Умилившись его неожиданным человеколюбием, я, дура непробиваемая, даже пролила ночью душещипательную слезу в свою стародевичью подушку. А утром, когда я уже начала задремывать, меня подбросило: где-то на задворках памяти всплыли два слова: «Гражданский кодекс». Я моментально села и стала соображать: если Ленусик умрет – а она уже приступила к умиранию – то неутешный вдовец останется наследником первой степени, в то время как сестра – лишь второй. И совершенно неизвестно, удастся ли мне оттягать от него по суду хоть малую часть прежнего родительского изобилия... В качестве маленького самооправдания сообщаю: в те минуты, в утренних сумерках обдумывая беспроигрышную комбинацию, я меньше всего жалела о теряемых ценностях. Мне хотелось просто предотвратить творящуюся несправедливость: не позволить, чтобы случайный, никого не любящий, жестокий человек получил то, на что не имел морального права...

Что было делать? Откровенно поговорить с сестрой? Но лишь подумав об этом, я сразу мысленно увидела, как, выслушав меня, она бьется в неподдельной истерике, упрекает меня же в жестокосердии, зависти ее счастью, сребролюбии и еще Бог знает в чем. «За что?! За что ты его так ненавидишь?!» – обливаясь слезами, начала бы голосить она. Словом, такой разговор только поторопил бы свадьбу...

А они сразу подали заявление, и, ввиду тяжелой болезни невесты, испытательный срок им сократили до десяти дней: на одиннадцатый назначена была госпитализация. Казалось, ничто не могло предотвратить исполнение задуманного молодым мерзавцем плана; он уже ходил гоголем, на ходу подкручивая щегольский ус, и бросал на суженую, когда она отворачивалась, победные взгляды. Их замечала я одна – именно мне-то они и предназначались... Но я сделала это.

Накануне свадьбы я придумала дополнительный повод для радости: якобы принятую в научный журнал мою статью по английской фонетике – и пришла с бутылкой коньяка. Жених такое дело всегда приветствовал, а Ленусик ловила каждую возможность украсить последние дни перед больницей.

Так вот, дорогой друг, я их обоих отравила. Не пугайтесь, не до смерти. Я довела веселье до того пика, когда пришлось бежать за «дополнительной», а потом, убедившись, что они уже от счастья (каждый – от своего), что называется, мышей не ловят, я потихоньку высыпала в «дополнительную» белый порошок от давления – ровно столько, чтобы они проснулись завтра. Но тогда, когда Загс будет уже закрыт. Сама я сымитировала такой же глубокий сон к моменту их пробуждения...

Не знаю, оценил ли несостоявшийся зятек мое коварство, но горестные вопли его раздавались до полуночи, и вторила им обманутая в самых светлых ожиданиях Ленусик. Перенести госпитализацию оказалось совершенно невозможным (это я провентилировала заранее), и моя неутешная сестренка была мною сдана и водворена куда следовало, где через три дня и скончалась мирно на операционном столе, под равнодушным оком бестеновой лампы, и не такое видевшей. Мои подозрения оказались верными на сто процентов: обойденный жених не появился ни на похоронах возлюбленной, ни в моей жизни никогда.

А там тем временем, к сорока годам, подошла удивительная пора первой любви. Именно ради рассказа о ней я пишу Вам эту странную исповедь и даже слушаю Вас. Ничто другое, не в обиду будет сказано, меня бы не заставило...

У Юли возникли очередные трудности: Вадик ни за что не желал тащиться «к чокнутой старухе», да еще и везти к ней белую, как аскарида, кошку с жутко-бордовыми гляделками.

- Обойдется! – гремел он, вращая глазами, которые в минуты гнева всегда становились похожими на Зайкины. – Скажи – я занят! Завален работой! День и ночь оперирую! Заболел, слег, не знаю что!!

- Да?! А я эту... гадость в руках понесу?! На другой конец города?! А если она брыкаться начнет и сбежит?!

- Туда ей и дорога! Все равно, не сегодня-завтра вышвырнем!

- Ты пойми! – зашла Юля и пнула подвернувшуюся кошку; та отлетела с оскорбленным «А-ай!», припала, зашипев, но нападать передумала, оценив, вероятно, свои ничтожные возможности или просто сообразив, что с ней не играют, а может быть, всерьез собираются убивать. – Она что-нибудь заподозрит!! У нее эта кошка – пунктик!! Стародевичий свих!! Она и свихнулась на ней – я тебе рассказывала! Так что поедешь как миленький! Вдруг скажет – вам и кошку нельзя доверять, не то что квартиру, набитую антиквариатом!

То, что тетка свихнулась на, кошке, было делом очевидным. Юля знала одну страшную вещь (и если ее раскрутить – так и любое завещание недолго оспорить из-за неменяемости завещателя), о которой она давно уже рассказала мужу и которой он, по обычаю, не придавал значения, как и всему, что касалось жениной тетки, кроме ее неизбежной смерти.

Страшная вещь заключалась в том, что Зайка умерла пять лет назад. У нее нашли какую-то болезнь, был приглашен на дом для операции седовласый представительный ветеринар, коего, при случае, можно было принять за академика. Белая кошка испустила дух под руками этого Айболита еще до того, как он ее разрезал на покрытом клеенкой в цветочек кухонном столе: сердечко не выдержало блатной дозы наркоза. Юля видела это своими глазами, а потом, когда врач, бормоча извинения и реабилитируясь тем, что у каждого врача есть свое небольшое кладбище, шмыгнул за дверь, она убедилась в том, что животное начало коченеть. Вместе с окаменевшей от горя Ириной Викторовной Юля заворачивала когда-то пушистое, а теперь вдруг ставшее облезлым тельце в наволочку, потом в полиэтилен, перевязывала веревками и паковала в импровизированный гробик – коробку от итальянских сапог.

Дело шло уже к ночи, видеть коробку в доме до утра тетка отказалась, и пришлось брести в темноте на далекий пустырь, где и состоялись похороны. Юля, как каторжная, копала и долбила землю, Ирина бездейственно стояла поодаль, подобно скорбной статуе на могиле прошлого века. Похороны были прерваны досадным инцидентом. Из-за кучи мусора, как эльф из-за куста черники, возник милиционер и проявил законное любопытство. Его очень заинтересовало, что могут прятать ночью на пустыре две приличные гражданки. Воображение рисовало ему, очевидно, пару килограммов героина или, как минимум, удушенного младенца. Он распорядился: «Предъявите кошку», – и никакие уговоры не помогли. Более того, сержант даже не пошевелился, чтобы помочь, и Юля, шепотом ругаясь, совершила гробокопательство собственноручно. Процесс пошел в обратном порядке: веревка, коробка, опять веревка, полиэтилен, наволочка, мертвый зверек... Когда все закончилось, обе женщины забились в истерике.

А через полгода Зайка вернулась. Будучи живой, она всегда возвращалась таким образом. На фасаде дома, где жила Ирина, балконы располагались в шахматном порядке. После очередной контрабандной прогулки, когда ей удавалось выскользнуть так или иначе за дверь, кошка с козырька подъезда сигала на балкон второго этажа – оттуда по зигзагу выше и выше — пока не попадала на балкон хозяйки. Появление сопровождалось стуком и особенным требовательным мявом...

Но Зайку закопали осенью, а кончался май, когда точно такой же стук и мяв раздался с балкона. Юля как раз пила кофе у тети, а еще нащупывала пути к прикарманиванию старинного приглянувшегося браслета – и старая дева как будто колебалась. Но тут

браслет Юле улыбнулся. Тетка вскочила и с воплем «Зайка вернулась!» ринулась в спальню, где и был балкон. Юля подалась вслед и остолбенела: Ирина входила в комнату, держа на руках точь-в-точь такую же кошку-альбиноса, какая давно спокойно разлагалась в земле на глубине пятидесяти сантиметров. Мало того, тетка гладила ее и бормотала:

- Маленькая моя, что ж ты так долго гуляла? Мама тебя ждет-ждет, а ты не идешь...

Немедленная сдача родственницы в сумасшедший дом в планы Юли не входила, поэтому она подскочила к Ирине, отняла кошку и принялась втолковывать:

- Тетя Ира, это не Зайка. Даже совсем на нее не похожа! – похожа была так, что у Юли побежали по всему телу мурашки. – Вы же знаете, что Зайка – умерла.

- Умерла... — шепотом откликнулась Ирина.

- И мы с вами вместе ее похоронили.

- Похоронили...

- Значит, это чья-то чужая кошка.

- Чужая...

- Потому что Зайка не могла воскреснуть!

Тетка встрепенулась и бросилась к животному, которое вело себя так, будто вернулось домой после краткой отлучки: сначала деятельно вылизалось, а потом уверенно направилось в закуток, где раньше стояла Зайкина тарелка с едой, и издало оттуда совершенно Зайкино вопросительное «Ня?».

- Это она... Ты же видишь – это она... – и где еда должна быть, знает, – горячо и убежденно зашептала Ирина, да и у самой Юли на секунду мелькнуло страшное сомнение.

Но она выпрямилась, держась пальцами за виски:

- Спокойно. Только спокойно... Это – не Зайка. Все равно не Зайка...

- Она тогда не умерла, а очнулась, раскопалась и пришла, – возбужденно подсказала тетка.

Но Юля знала как врач, что Зайка околела. Даже очнись она, паче чаяния, – «раскопаться» – это уже из области фантастики, так хорошо была упакована. И потом, прошло целых полгода – не летаргическим же сном она спала! Чушь... Кроме того...

- Эта кошка – моложе! – воскликнула Юля. – Зайке было восемь лет, а этой – не более трех! Это не та кошка!

Юля обрадовалась доказательству так, словно вообще могли быть раньше какие-то серьезные сомнения. Тетка и соглашалась и не соглашалась. С одной стороны, она не пыталась возражать против несокрушимых доводов, а с другой, прижимая к себе белую, как взбитые сливки, новую кошку, шептала «Зайка, Заинька...» – чем ставила племянницу в тупик.

- Случайное совпадение! – твердила Юля.

- Не верю я в случайные совпадения вообще, а в такие – в частности, – невозмутимо отбивалась Ирина.

В конце концов Зайку-2 все-таки утвердили в этом имени, только без «2», она, конечно, осталась жить у Ирины, присвоив права предыдущего зверька. Хвастаясь при случае, тетя всегда провозглашала: «Эта кошка у меня уже больше десяти лет живет!» – и все удивлялись ее здоровому бодрому виду и молодой прозорливости.

Пришлось напомнить об имевшем место мистическом эпизоде Вадику. Он, издав положенное число вздохов, согласился везти Зайку в клинику, еще разок от души пнул ее для порядка и, взяв за шкварник, остервенело сволок вниз, где и швырнул в машину...

Эти люди видели только страшные багряные глаза на круглой белой морде, но не могли заметить удивительной ласковости пытаемого ими маленького животного, всегда молочного цвета, ни разу, даже за кошмарную жизнь у них не приобретшего желто-серого оттенка, Зайкиной доверчивости даже к ним, каждый день бившим ее по голове, и не раз нарочно прищемлявшим пушистый хвост в дверях. Тосковала ли Зайка по Ирине? Наверное, потому что из всех вещей, вываленных однажды Юлей на кровать из шкафа, она выбрала один свитер, подаренный когда-то Ириной племяннице, – и, оттащив его в

сторону, улеглась на нем, подогнув лапки, словно чувствуя единственную свою собственность в этом негостеприимном доме – за что была избита до полусмерти новой хозяйкой свитера... Но и это Зайка простила и, выползая под вечер из-под тахты, где отлеживалась от ушибов, тяжело вскочила Юле на колени, желая, наверное, сказать: «Я нечаянно! Я не знала, что свитер теперь твой!» – и полетела кувырком через всю комнату, больно ударившись спиной о ручку кресла.

- Полегче, – покосился тогда Вадик на супругу. – Сама говоришь – тетке предъявлять, а угробишь до времени.

- Так ведь мерзкая какая! И еще лезет, понимаешь! – горько пожаловалась Юля. Ирина лежала плашмя, укрывшись одеялом до подбородка, и вошедшим супругам на секунду показалось, что перед ними, наконец, давно ожидаемый труп. Лицо было желтым, как стеариновая свечка, и уже, в общем, мало походило на знакомое: так даже от близких, оказавшихся в гробу, отстраняешься, потому что это уже не они...

- Тетечка Ирочка... – для проформы позвала Юля, чувствуя, как закипает в горле радость.

Но, к ее разочарованию, труп быстро открыл бесцветные глаза.

Я вздремнула, – как ни в чем не бывало, сообщил оживший мертвец и добавил: – Я себя немножко получше сегодня чувствую...

-А мы сегодня к тебе втроем! – весело, как ведущая «Спокойной ночи, малыши», провозгласила Юля. – Вадик, покажи фокус!

Сияя в тридцать два зуба, Вадик отстегнул крышку большой матерчатой сумки – и оттуда сразу словно сверкнула белая молния. Очумелая Зайка безмолвно оказалась на груди хозяйки и замерла там, немедленно включив знакомый Ирине моторчик, про источник коего ученые до сих пор не сошлись в едином мнении.

- Контрабандой пронесли, как гостинец, – не переставая сиять, доложил Вадик. Он стоял с довольным видом фокусника, только что удачно исполнившего редкий номер.

- Вадик! – улыбнулась больная, крепко прижимая к себе кошку. – Наконец-то! Ты как будто даже вырос! – супруги вежливо хмыкнули теткинemu остроумию. – Так давно не виделись. Заработался, бедный? Выглядишь неплохо.

Начался уютный домашний разговор. Потчуж тетку хирургическими байками (в разумных пределах, чтобы на свой счет не приняла), Вадик косился на воркующую жену и думал: «Надо же, актриса какая! Стерва».

Оживившаяся кошка, забыв про обиды и побои, шныряла под одеялом, застывая под непрерывно ласкающими руками – и все выглядело встречей троих любящих, заботливых людей...

- Ну, как ты, Зайка? Не обижают тебя Юля с Вадиком? – шутливо спросила вдруг Ирина Викторовна.

Она адресовала вопрос кошке, на нее и смотрела, и потому не заметила, как мгновенно изменились лица гостей. Супруги окаменели на секунду, особенно Юля, – словно боясь, что мистическая кошка вдруг возьмет, откроет свой розовый рот и скажет человеческим голосом: «Обижают. Бьют. Лиши их наследства». Но тетка ответила сама, продолжая гладить и тискать любимицу:

- Конечно, не обижа-ают... Они у нас ребята хоро-ошие... – и у Юли отлегло от сердца, словно миновала действительно реальная опасность.

Было прощание, клятвенные заверения вернуться очень скоро и опять всем вместе, пожелания здоровья и наставления типа «берегите себя», а вечером крыса Лизиска, почуяв в палате запах извечного врага – кошки – не подошла к Ирине близко, а долго настороженно нюхала воздух, живо схватила кусок колбасы и сбежала, не обращая внимания на призывы: наверно, она заподозрила подвохи решила не рисковать, ведь откуда-нибудь мог внезапно выскочить спрятанный человеком до поры до времени голодный боевой кот...

Толстый голый бесенок по прозвищу Амур (а ведь собак часто так называют, правда?) нацелил свой игрушечный лук и на меня – когда я уж было порадовалась, что, как будто,

оставлена в покое до конца дней.

К тому времени я уже не выглядела так анекдотично, как в юности; вместо чудовищных очков, способных заставить отшатнуться самого доброжелательного собеседника, приобрела себе импортные мягкие линзы, кое-как прибарахлилась, предпочитая более всего практичные костюмы не слишком мрачных расцветок (это для того, чтобы впечатление «старая дева» стало для людей, по крайней мере, не первым); научилась с горем пополам причесывать волосы прилично, причем даже подкрашивала их оттеночным шампунем, отчего они приобрели таинственный лиловатый отлив; я теперь неизменно затушевывала гримом сохранившиеся с детства темно-серые круги под глазами и клала на пепельные свои щеки нежно-розовый румянец... Насмешливая утрюмость моего характера, паче чаяния, теперь не пугала людей, как раньше, когда они успевали еще до первого разговора мною налюбоваться, а наоборот, притягивала необычностью. Ученики тоже меня если не любили, то, во всяком случае не ненавидели, предоставляя мне все блага сносной жизни...

Такой она и осталась бы, не приди к нам однажды в школу преподавать русский и литературу... да зачем, собственно, имя? Ведь речь пойдет обо мне, а не о нем. Для полной ясности сообщаю, что он был моложе меня лет на семь, обаятельно-некрасив, женат на нашей учительнице истории, моей тезке Ирочке, художественно-небрежен в одежде и печорински-недоступен для близкого общения. Дети и родители его не любили за способность одной красной чертой целиком перечеркнуть идеологически выдержанное сочинение отличника, подписать под ним ясное слово «бред», а в журнал вклеить полновесную единицу. Учителя его дружно терпели – как терпят любого монстра мужского пола в поголовно женских коллективах. Он ни с кого ничего не требовал, к любым педагогическим вывертам коллег относился снисходительно-цинично, не ничего сверх оплачиваемого не предлагал и сам. Он первым нарушил неписаное правило школы: ни один учитель не смеет покинуть ее пределов, пока не ушла директриса. А она, как назло, «горела работой», придумывая каждый день для себя и подчиненных какое-нибудь важное и интересное дельце, дабы подольше с полным основанием задержаться в родных стенах школы: ей самой совершенно не хотелось рано возвращаться в пустую после женитьбы сына квартиру... А мой герой невозмутимо исчезал после своего последнего урока и на негодующее «А вы разве не – ?» спокойно улыбался: «Мне за это не платят», – и я его зауважала. Именно зауважала, потому что влюбиться «на расстоянии», да еще в женатого, да еще в молодого, тогда считала ниже даже своего растоптанного достоинства.

В таких случаях я только улыбалась ему намеренно понимающей улыбкой, словно передавая на расстоянии: «Завидую и сочувствую вашей независимости». В ответ я получала такой же взгляд – и на сердце светлело. Больше мы практически никак не общались, если не считать «здрасьте – до свиданья – хорошая погода». Лишь изредка доводилось обмениваться незначущими с виду репликами, вроде (когда сломался замок в его классе, и он в начале урока вальяжно шествовал по коридору, возглавляя выводок пятиклассников, обрадованных явно срывающимся уроком):

- Ну, как, солдат спит, а служба идет?
- И денежки капают...

Мы оказались в положении еще не раскрывшихся заговорщиков, как два шпиона во враждебном государстве, которые еще не дошли до стадии пароля, но оба знают, что «этот – наш», и к нему следует обратиться в критическую минуту...

Минута настала в начале нового учебного года, десять лет назад. Ни я, ни, тем более, он, ничего не предвидели еще накануне той субботы, когда однажды в девятых классах были отменены занятия...

В те дни к нам приехали английские школьники – до того группа девятиклассников, под руководством нас, учителей английского, состояла с ними в деятельной переписке. И вот, десять подростков, изучающих русский, и учительница прибыли из Манчестера, чтобы создать нам дополнительные трудности. Вы легко можете представить себе, друг, какой тоскливой волокитой оброс весь этот дружественный визит – уж о приготовлениях к

нему я и вовсе умалчиваю. Приходилось таскать обалдевших от ужасов перестройки буржуинчиков по музеям, в Мариинский театр, устраивать нудные «русские застолья» с чаем, отдающим марганцовкой, и домашней выпечкой...

Учительнице, правда, показали под конец застолье не стилизованное, а наше, исконное – оттого утром она и не смогла принять участие в последнем неофициальном мероприятии, и вообще за жизнь хрупкого англо-саксонского организма всерьез опасались целые сутки.

Зато в этом мероприятии приняли участие он и я.

Уж не знаю, кому первому взбрело в голову, что для лучшего ознакомления с туземными обычаями иностранцев надо пригласить принять участие в традиционной только русском занятии, но кому-то взбрело – и мне позвонили:

- Ирина Викторовна, выручайте! Нужно срочно поехать за грибами!

- Что-оо?!

- Все согласовано наверху. Решено показать этот наш обычай. В девятых классах вас трое учителей английского. Елена Северьяновна не в счет – ей семьдесят лет. У Валентины маленький ребенок. Остаются вы.

- Ни за что. Я с ума там сойду.

- Я вас умоляю. Им уже пообещали, и они заинтересовались. С уроков девятое завтра снимаем, десять человек уже отобрано, чтобы ехать вместе с гостями. Да и англичане вас знают...

- Я что – одна должна туда с ними ехать?!

- Нет, нет, что вы. Упросили нашего литератора, чтобы хоть один мужчина был для порядка. Но он по-английски ни в зуб ногой. А эта их миссис после м-м... сегодняшнего слегла капитально и, кажется, к завтраму не встанет. Катастрофа.

- Никогда.

- Поезжайте, прошу вас, а то придется все отменять, а это неудобно, знаете ли, что о нас подумают...

- Ну, что делать... Поеду.. О, Господи!

Грибной лес находился в двух часах езды на электричке и с первого взгляда показался мне очень подозрительным. Он плотно охватывал с обеих сторон узкую одноколейку и горстку скромных домиков у самой платформы. Один из них назывался «дачей» и принадлежал бабушке моего ученика Козлова. Она-то, будучи активисткой родительского комитета, и организовала весь этот увеселительный вояж. Старушка приехала с нами, но в лес идти не пожелала, а скрылась в своем домике, где пообещала сварганить для всех нас через пару часиков уютное домашнее чаепитие. Там она и осталась его готовить, а вполне освоившиеся детки с международным гиканьем рванули прямо в лес – только я их и видела. Успела поймать на лету бабкина внучка Козлова и, позабыв о собственном призыве «говорить сегодня только по-английски», стала допрашивать его на родном языке:

- Ты, Козлов, этот лес точно хорошо знаешь?

- Да я здесь каждое лето провожу, Ирина Викторовна!

- Это не ответ. Ты мне скажи – мы действительно здесь не заблудимся?

- Да где ж тут заблудиться-то, Ирина Викторовна!

- Собери мне всех... Сейчас же!

Козлов быстро пошнырял по опушке, и вскоре перед нами столпились привычные к природе отечественные школьники и несколько ошалевшие, иностранные. На варварской смеси двух великих языков (для того, чтобы свои – тоже гарантированно поняли) я пятнадцать минут трагически призывала свой переминавшийся интернационал держать друг друга в поле зрения, не удаляться от учителей, русских – грибы брать только знакомые, а у англичан проверять, чтоб не нарвали поганок. Они все выслушали и слаженно исчезли, потому что уже научились прекрасно друг друга понимать. Увы, это происходило не оттого, что наши учащиеся хорошо владели английским, а благодаря тому, что в Соединенном Королевстве умеют успешно втемняшивать русский – если уж

вообще берутся за это неблагодарное дело.

Мы остались с ним наедине. Полагалось изображать из себя двух степенных педагогов, благодушно любующихся на резвящийся молодняк, вести глубокомысленную беседу о методике преподавания важных дисциплин или, в крайнем случае, перебивать кости коллегам. Но он молчал, срывая и покусывая травинки, и был так сосредоточен на своем, что пристать к нему с вопросом: «Вы не находите, коллега, что дети неплохо ладят с иностранными сверстниками?» казалось такой пошлостью, что я краснела от одной мысли об этом.

Мы шли чинно, плечом к плечу, я делала вид, что очень озабочена количеством мелькающих среди деревьев детей и все пыталась их вслух сосчитать, а он иногда молча наклонялся и доставал откуда-то из-под своих или моих ног невидимый мне гриб – чаще всего с буро-красной замшевой шляпкой на подпорке, напоминающей ствол березы, – и опускал к себе в корзинку со скромным: «Видали? Красавец».

Наконец, я решилась:

- Как вы думаете – они не разбегутся?

- Разбегутся, конечно, – пожал плечами он.

- А мы их обратно – соберем?

- Мы? Ни в коем случае, – последовал спокойный ответ. Нужно было изобразить недоумение – и я его удачно изобразила:

- А как же быть-то?!

- А никак. Устроится само как-нибудь, – и он опять осуществил глубокий нырок, появившись обратно с каким-то толстым чудищем в руках. – Смотрите, боровичок. Редкий экземпляр и даже не червивый.

Боровичок напоминал размером упитанную свеклу, и во мне на секунду разыграло генетическое желание найти такой же... Но больше всего я хотела наконец – говорить. О, ничего такого, просто расколоть его скорлупу невозмутимости, стать не-чужой, товарищем, если хотите – кому-то в первый раз в жизни. Но что я могла сказать? «Послушайте, перестаньте молчать, я знаю, что вы молчите не потому что не хотите говорить, а потому что не можете! И не потому, что вам нечего сказать! Вы весь – наполненный, до краев наполненный, вы не боитесь всем этим – захлебнуться?! Может, вам не с кем говорить, мне тоже, давайте поговорим друг с другом! Я хочу знать, почему вы такой, ни на кого не похожий, почему вы притворяетесь дурным, когда вы – другой. Я тоже – другая, я пойму вас, а вы меня. Никто ничего не узнает, и все будет по-прежнему, но давайте хотя бы один раз, здесь, просто поговорим!!!» – и, споткнувшись о корягу, я на его глазах растянулась в траве, точь-в-точь, как трехлетний карапуз – в луже. Он, конечно, подскочил, дружески-бесцеремонно поднял меня и отряхнул мне колени:

- Будете в лесу мечтать, глядя в небо – шею свернете.

К тому моменту я уже поняла, что сказать ничего не смогу. То есть, даже если и решусь (что мне терять), то наверняка не сумею найти верный тон, а выйдет жалобное лепетание, которое он запросто остановит какой-нибудь необидно-насмешливой фразой. И я выйду еще больше душой, чем есть.

Не в силах продолжать это бессильное шествие с ним бок о бок, я пробормотала нечто вроде: «Я тут в округе поброжу», – и шагнула в ближайший куст – так, что он мог подумать, будто я поспешила по малой нужде.

На самом деле мне просто хотелось побыть одной: в детстве еще забытое чувство горькой, непереносимой обиды вдруг обожгло мне глаза. Впервые, да, впервые, меня заинтересовал человек – и он обращает на меня не больше внимания, чем мог бы обратить на трусящую рядом собаку: ей тоже бросают добродушные фразы, не заботясь о понимании. А мне-то казалось... Шпионы во враждебном государстве... Дура, дура, дура набитая!

Я продиралась через бурелом в остервенении. Прыгала через канавки, один раз чуть не зачерпнула сапогом воду – но все шла, тяжело дыша носом и пиная по дороге замечательные экземпляры подосиновиков, чем давала повод удивляться грибнику,

идущему по моим стопам: «Какой это придурок здесь красные, как поганки, посшибал?».

Сначала задним слухом я еще улавливала восторженные картавые вопли «Red! White!», доносившиеся издалека, да примечала чье-то пестрое мелькание – и не заметила в обиде своей момента, когда все это прекратилось.

Обида потихоньку отливала от сердца, я успокаивалась и уже вознамерилась с беззаботным видом предстать перед ним с кокетливым букетом осенних листьев в руках, когда вдруг очень четко и бесповоротно поняла, что кругом тихо, солнечные лучи пронизывают золотую листву, ложась на усыпанную красным и желтым землю неровными тревожными пятнами, и нигде не шевелится ни одна веточка. Я самозабвенно ушла ото всех в неизвестном направлении, и получилась дикая штука: не я потеряла детей, а они меня потеряли...

Развернувшись на сто восемьдесят градусов, я зашагала назад – но по-прежнему не слышала даже отдаленных голосов. Согласно древнему шаблону, я крикнула несколько раз «Эй!» – и не получила ответа...

Тогда я сделала самое худшее, что может сделать человек в таком положении – я побежала. Иногда останавливалась и издавала протяжный волчий вой «А-у-у!», но успех был прежним, и я бежала вновь, правда, не испытывая настоящей паники: мне, наверное, еще казалось, что я скоро куда-нибудь прибегу. Казалось до момента, когда под моей ногой что-то с треском проломилось, а вторая в тот же миг лишилась опоры. Потом был страшный кувырок в глубокую ложбину, сокрушительный удар головой о дерево, резкая боль в колене – и свет, на мгновение ярко вспыхнув, погас на неопределенное время...

Когда я, схлопотав, наверное, легкое сотрясение мозга, наконец, очнулась, то сперва попросту не могла ничего понять. Я не способна была даже оценить обстановку, потому что обнаружила перед глазами лишь расплывчатую серо-буро-малиновую пелену. Еще несколько минут ушло на то, чтобы постигнуть весь ужас положения: при ударе головой обе линзы каким-то образом вылетели, и теперь я мало чем отличалась от радикально слепого. То, что я различала свет, тень, расплывчатые контуры объектов и беспредметные цветные пятна, едва ли могло помочь мне в те минуты. Об остальном телесном ущербе (довольно сильных ушибах и поранениях полегче) я даже не вспомнила – настолько это показалось несущественным перед полной моей беспомощностью в главном. Секунда, когда я все это вполне осознала, была страшна: даже теперь, когда ничто уже не поможет, я вспоминаю ее с невольным содроганием... Помню, как судорожно гребла руками вокруг себя, смутно надеясь на чудо – в ворохе палых листьев и хвои найти хрупкую драгоценность – хотя бы одну линзу. Я бестолково шарилась по безответной земле, а потом к ней же и припала со стоном...

Ситуация выглядела бы достаточно печально будь даже линзы на месте: заблудиться в незнакомом лесу – тяжелое испытание для жителя строго разлинованного мегаполиса. Но если при этом еще и внезапно ослепнуть... Словом, шансы мои на самостоятельный выход из леса равнялись абсолютному нулю. Оставалось встать и идти, идти, идти, вытянув руки, вперед – или нет, нащупывая путь палкой... Но сделать это по малодушию и слабости характера я не смогла бы все равно – и потому перевернулась на спину и завывала в невидимое небо... И сейчас считаю те минуты почти самыми страшными в своей жизни (о самых без «почти» речь впереди), потому что умирать, как я сейчас – эдак постепенно и с удобствами – гораздо легче, оттого, что естественней: все там будем. А вот нелепо сгинуть в пригородном лесу вследствие потери двух крошечных прозрачных пластинок – в этом есть что-то чудовищное, уродливое и очень обидное...

Вот я и выла не знаю сколько времени, перемежая вой с призывами о помощи, и мне было все равно, в каком виде меня найдут и что подумают. Найди меня кто из учеников – это означало бы опозориться перед всей школой навсегда – но я мысленно полностью с этим смирилась...

Не знаю, сколько длился приступ моего черного отчаянья, но начинало уже ощутимо для меня темнеть, когда издалека донесся голос:

- Ирина! Где вы?! Я вас слышу, но не вижу!

Только тут я сообразила, что так и лежу на дне лощинки, и с радостным мычанием полезла наверх, где и была подхвачена двумя сильными руками.

- Что с вами?! Вы упали?! Кости целы?! – беспрестанно спрашивал он. – Я с ног сбился, пока не услышал ваши... крики о помощи... Ох, Ирина, куда вы смотрите, почему у вас такое лицо?!

- Линзы... – обрела дар речи я. – Упала – они и выскочили... А без них я почти ничего...

- Линзы?! А я и не знал, что у вас линзы. Только думал иногда – какой у нее взгляд интересный! – в его голос уже вернулась обычная безобидная насмешка. – Ну как, идти-то можете?

- Где дети? – собрав остатки чувства долга, спросила я и получила удивительный ответ:

- А кто их знает... Там где-то...

И я расхохоталась. Не истерическим хохотом, излечимым только парой хороших затрепичин, а настоящим веселым смехом – потому что именно в тот момент поняла: мне совершенно наплевать, где дети. Помолчав минутку, он вдруг рассмеялся тоже – и так мы хохотали посреди чужого вечеряющего леса, два учителя, один – слепой, другой – со странностями...

- Так выходит, мы их потеряли? Два десятка учеников? Половина из которых иностранцы? – меня опять скрутил приступ веселости, и я в изнеможении опустила на корточки.

- Не мы их, а они нас. Я пока тут бегал и вас искал, сам напрочь заблудился, – беспечно ответил он.

- И как же они там без нас? – любопытствовала я. – Обойдутся как-нибудь... Главное, как мы с вами.

Опять мы сидели рядом на земле, смеялись, и, ничуть себе не удивляясь, я беззаботно надеялась, что дети выберутся как-нибудь сами – что им сделается – а мне просто хорошо сидеть вот так с этим ужасным человеком, знать, что мы чувствуем одинаково, что оба мы – веселые мерзавцы, которым единственно до чего сейчас есть дело – так это друг до друга, а остальное образуется само собой.

- А знаете, – вдруг сказал он, – я все работаю в этой чертовой школе, работаю, на вас гляжу и думаю: почему я женат не на этой женщине, а на моей хихикающей идиотке?

Вот теперь, друг мой, если Вы представите себе мои дальнейшие чувства, то впервые не ошибетесь...

- А вы – знаете, что я то же самое думаю? – спросила я, когда первая оглушенность его словами прошла.

- Я сегодня все хотел с вами заговорить. Потому что ничего не знаю. Спросить вас – почему вы такая? Что у вас внутри? Предложить – если вдруг вам не с кем поговорить – поговорите со мной! Я никому не выдам! Но думал: она натура скептическая, а у меня правильно сказать не получится... Сейчас ка-ак поставит меня на место двумя словами! И окажусь я еще больший дурак, чем есть... Вот и совал вам зачем-то эти грибы... Нужны они мне, моя идиотка все равно готовить не умеет!

Жену свою он не то что не любил – спокойно презирал. А воспитал свое презрение – на матери. Она родила сына без мужа, после тридцати лет, и сразу после его рождения материнская любовь приобрела безобразные, если не сказать извращенные формы. Дитя превратилось в фетиш, которому она безропотно и унижительно служила, за всю жизнь не сделав ему ни одного замечания. А мальчик, наделенный недюжинным умом и пронизательностью, уже в десять лет способен был холодно наблюдать, до каких глубин унижения дойдет мать, и специально, расчетливо провоцировал еще большее унижение. В пятнадцать подросток задал себе очень логичный вопрос: «Неужели она не понимает, что таким образом растит негодяя?». Но она не понимала – и вырастила, успев дать ему прочувствовать все преимущества негодяйства... С презрения к матери началось и гипертрофированное презрение к женщинам вообще – оттого и женился на первой влюбившейся дуре, слепо продолжившей материнские традиции, искренне полагая, что выбирать все равно не из чего. Только к тридцати годам, перебрав множество самок и

убедившись, что различаются они только цветом волос и объемом талии, он понял, что ему не нужна женщина. А нужен человек – тоже обманутый, изуродованный жизнью, но оттого поумневший, ничего не ждущий и не обещающий. Как я, отпетый. И он угадал меня, опознал, как рыбак рыбака – только по редким фразам, взглядам и повадке. Он понял главное: что мне, как и ему, в сущности, наплевать на все и всех, лишь бы довлечать свое и кануть... Ко мне единственной он почувствовал возможность хорошо относиться – обрел некий объект приложения своих атавистических добрых чувств.

И, обретя, он неспешно вел меня по лесу, где погибали, может быть, в дремучей чаще двадцать брошенных малюток.

Малютки, тем не менее, не сгнули. Все до единого они были выведены из чащи мужественным Козловым и, попив обещанного чайку у бабули, даже разбились на четыре интернациональные поисково-спасательные партии и отправились обратно в лес искать погибающих нас. Одна из групп и обнаружила любимых учителей, мирно вечеряющих припасенными бутербродами на поваленном дереве... Помню, что смешно было учиться есть почти вслепую, и я все время попадала бутербродом мимо рта, но была счастлива, как ни до, ни после в этой жизни...

В Страстную Пятницу о. Димитрий явился к своей подопечной в мрачном настроении. Он хмуро уселся в ногах ее постели, машинально теребя конец бороды и, словно не зная, с чего начать, бросал на Ирину быстрые напряженные взгляды, в которых читалось нетерпение и растерянность.

Только что в коридоре он столкнулся со спешившим домой ее лечащим врачом, толковым малым, отвел его в сторонку и обстоятельно повыспросил. Без обиняков молодой доктор сообщил ему, что больная доживает последние дни, и он, идя утром на работу, никогда не уверен в том, что застанет ее в живых. Чудо еще, что она все время лежит – очевидно, поставила себе сверхзадачу, не выполнив которой, умирать не собирается – «бывает такое, знаете, в практике». Ей уже начали колоть наркотики, уверяя, что это «укрепляющее для сердца», чему она явно не верит, так как каждый раз при виде шприца неприятно так усмехается... Врач высказал предположение, что окрестить умирающую не удастся – священник попросту не успеет, если не предпримет отчаянную попытку ее как-нибудь поторопить.

С этим намерением и пришел о. Димитрий к Ирине, решившись в душе на отчаянный шаг: применить «шоковую терапию». Но, не будучи злым по природе, никак не мог заставить себя произнести первое слово. Не мог, пока Ирина сама не подсказала ему:

- Что же это вы? Даже «здравствуйте» не сказали...

И о. Димитрий вскинулся, окрыленный подсказкой:

- «Здравствуйте»?! Какое «здравствуйте»?! – в сердцах он чуть не выпалил «ко всем чертям», но вовремя удержал язык. – Помилуй вас Боже! – и его понесло: – Здравствовать желаете?! И что, думаете, много осталось? Так я вам скажу – три дня, два, а может – и ни одного! Умираете тут... с комфортом... Вы что думаете, заснете и не проснетесь, да?! Нет, дорогое чадо, проснетесь! Только не здесь! А там, где... Где не дай Бог никому проснуться! Потому что вы – некрещеная! Думаете – допишете, и я «сам все решу» – а что мне решать-то! Говорите мне прямо сейчас, упрямая женщина, говорите – намерены ли креститься во оставление грехов или хотите со всем вашим... багажом... отправиться в преисподнюю?! Отвечайте!

Высказав все это на одном дыхании, добрый пастырь слегка опешил: в таком тоне он раньше позволял себе говорить только с женой. Он испугался – не выгнала б умирающая его немедленно вон, а вместе с ним – и свое вечное спасение...

Но Ирина не рассердилась. Она осторожно приподнялась и тускло посмотрела на священника. Он услышал хриплый вялый голос:

- Хочу... Не сейчас, а... завтра... Вы приходите с этой вашей... как ее... епитрахилью... И все сделаете, как положено... Ну, а если... – и опять она усмехнулась своим знаменитым «нехорошим смешком», – в живых не застанете... То, значит... Нет на то воли Его... Не

принимает меня, значит...

- Бога искушать хотите? – спросил о. Димитрий. – Смотрите, не дело это...

Но он понял, что переубедить не удастся, хотя и вертелось на языке предложить ей как находящейся в смертельной опасности принять крещение водой теперь же, а уж завтра, если Бог даст, ему прийти и дополнить миропомазанием. Но взглянув на больную еще раз, уверился, что даже такого компромисса не добьется.

«Пожалей, Господи, неразумную рабу Твою, не дай ей погибнуть непросвещенной светом Крещения», – помолился он про себя, а вслух сказал:

- Что же. Так тому и быть, если Господь вас помилует. Уповайте на волю Его.

Помолчали.

- А у вас-то что случилось, друг мой? – вдруг тихо спросила Ирина. – Я же вижу...

Священник подивился пронизательности: казалось бы, в таком положении человек и замечать ничего кругом не должен, а она...

- Да, есть... неприятности, – неохотно поделился он. – Но вам это едва ли...

- Расскажите, – неумолимо потребовала больная. – Вы – мне помогаете, а я, может, вам помогу.

- Что рассказывать... Служу я, сами знаете, в церковке, небольшой такой... Двое нас там было – отец настоятель и я, грешный. И пришло из епархии на днях распоряжение: присылают на мое место другого священника. А меня – переводят. Вроде как с повышением, настоятелем делают... Я было обрадовался, поехал церковь свою вчера посмотреть. Святой Марии Египетской называется. Приезжаю, а там... только фундамент. И рабочие, прости Господи, пьяные до положения риз... Стройматериалов нет, платить нечем, на счете четыре рубля. Денег не дают, говорят – на пожертвования... Какие там пожертвования, Господи! Вот такие мои дела... Только до Фоминой в нашей церкви служить и разрешают, а потом иди, служи на фундаменте! — и о. Димитрий горько покачал своей большой взбалмошной головой.

- А что, – быстро проговорила Ирина, – денег-то много нужно, чтоб достроить?

- А-а... – махнул рукой пастырь, лишаемый овец. – Ни у вас, ни у меня столько нет... Разве новый русский найдется, душу спасти захочет... И-и! Гиблое теперь мое дело... Надолго...

- Кто знает, кто знает, – забормотала больная и вдруг опять приподнялась: – Слушайте! Вот вы – священник... Души знать должны... Скажите, как вы думаете... Живут два человека, муж с женой... Давно уж друг другу чужие, если хуже не сказать... И вдруг сваливаются на них деньги... Скажем, по наследству... Приличные деньги, в движимом и недвижимом имуществе... На что потратят? Избавившись от материальных проблем, в область духовного обратятся? Хорошее что-то сделают? Без этой ежедневной удавки на шее, а?

- А – верующие? – спросил о. Димитрий.

- Нет, наверное... Но молодые, несчастные, у которых все, может, и наладится... Что они сделают?

- Друг другу за эти деньги горло перережут, – честно ответил священник. – А если и не перережут, то отнимут друг у дружки кто сколько сможет, а потом растащат – каждый в свой угол.

- Вот то-то и оно... – протянула Ирина.

- А что? – наострил уши о. Димитрий.

- Да так... Есть идея одна... Обдумать надо... – явно не ему, а себе ответила женщина и встрепенулась: – Так я жду вас завтра, если жива буду.

- Я немножечко кулички посвячу и приду, – пообещал о. Димитрий. – Отпустит настоятель, на благое дело отпрошусь объясню, что тянуть нельзя. Он у нас человек понимающий, прихожане чуть не святым почитают...

- Я постараюсь... – прошептала Ирина. – Постараюсь дожить... И до этого, и до еще кой-чего...

Оставшись одна, она долго лежала, глядя в потолок. По лицу то и дело пробегали

болезненные судороги, но явно не от физической боли, а вызванные мучительным размышлением. Наконец, лицо посветлело. Ирина нажала кнопку звонка.

Через пару минут показалась пожилая медсестра Лариса Васильевна, и было хорошо, что именно эта: за небольшую плату она часто и охотно выполняла поручения больных, выходящие за рамки служебных обязанностей.

- Вот что, сестра, – как всегда без предисловий начала больная. – Я попрошу вас о любезности. Теперь наступают выходные, а в понедельник потрудитесь, пожалуйста, пригласить ко мне нотариуса. Я решила переменить один документ. И сделать это нужно достаточно быстро, как вы понимаете. Я хорошо отблагодарю вас.

Сестра с готовностью кивнула: такие поручения были ей не в новинку – здесь часто писали и переписывали очень разные документы, и она не единожды становилась свидетельницей самых душераздирающих драм...

- И принесите мне телефон. Трубку. Мне надо позвонить, а вставать я уже не очень-то могу, – закончила Ирина.

Юля работала в тот день во вторую смену – с трех часов дня до девяти вечера. Работа с самого начала не задалась: «тетки» попадались все как одна непонятливые, безграмотные – и при этом настырные и требовательные. Особенно достала Юлю приличная дама средних лет, которая шесть, – ровно шесть раз, Юля подсчитала! – возвращалась в кабинет с полдороги домой, чтобы снова и снова дотошно расспросить доктора о том, как принимать простейшие выписанные ей таблетки. Создавалось впечатление, что эта здоровая кобыла готовилась принимать первое в жизни лекарство. Сначала ее интересовало – разжевать или нет, в следующий раз – запивать или не нужно, потом она вломилась с целью узнать, горячей или холодной водой – уж, кажется, все! – но она пришла еще три раза с новыми неразрешимыми проблемами: сидя или стоя глотать, можно ли после этого ложиться, и обязательно ли запивать водой – может, лучше молоком... «Если она появится еще – я ей посоветую в задницу запихать!» – не выдержав, поделилась настроением Юля с более покладистой новой пациенткой. Та глупо хмыкнула.

Как пошло сначала – так и продолжалось весь день. Потерялись чьи-то анализы, не достало зеркал малого номера, и в результате какая-то юная истеричка всерьез грозилась жаловаться чуть ли не в Минздрав; очередная малолетка требовала немедленного аборта – за две недели до крайнего срока родов! – и Юля отвечала, извинялась, доказывала, с каждым эпизодом все более сатанея... Но вдруг она поймала себя на мысли, что не только служебные неурядицы стали причиной ее сегодняшней небывалой взвинченности. Нет. Сегодня, именно сегодня она почувствовала, как включился некий обратный счетчик: десять, девять, восемь... И необратимый счет достиг, по ее мнению, к вечеру уже где-то числа шесть. Ноль – это неминуемая скорая смерть тетки Ирины, а за ней – восхитительная свобода, обеспеченность, новая престижная работа, и главное – без Вадика.

«На развод подам сразу после похорон. Сразу нельзя – пусть все технические детали улаживает».

Вот и находилась Юля в ровном состоянии предистерии, ей хотелось взять хлыст и подстегнуть нерасторопное время, чтоб не переваливалось, как старая гусыня, а подхватило бы и резво понеслось вперед, вперед...

«Вдруг я приду домой, а Вадик скажет: Уже звонили. Готова твоя тетушка!» – подумалось Юле среди рабочего дня, и она несколько часов удерживалась от соблазна позвонить в клинику и убедиться. Но она не делала этого, желая, как маленькая, получить сюрприз из чужих рук. Юля вспомнила, как в детстве всегда точно знала, куда мама припрятала подарок ко дню рождения. В любую минуту ее отсутствия в комнате маленькая Юля могла бы броситься к нехитрому тайничку и посмотреть. Но она ни разу не жульничала, потому что знала: утоли сейчас жгучее любопытство – и останешься без главного, без сюрприза. Она всегда стойчески дотерпчивала до утра радостного дня, когда мать клала ночью подарки на тумбочку у ее кровати – но и в те рассветные часы после

тревожной ночи долго заставляла себя не глядеть, чтоб продлить блаженство счастливой неизвестности и уверенности одновременно.

И сейчас ей хотелось, чтоб желанная весть нашла ее сама – не поторопить, не спугнуть. Но, как и в детстве, было знакомое твердое знание, что подарок совсем рядом, и никто, никогда его не отнимет... Обо всем, этом размышляла Юля по дороге домой и не замечала, что у нее, как у молодой влюбленной, блуждает по озаренному лицу мягкая загадочная улыбка.

Дверь в квартиру открылась до того, как Юля успела поднять руку к кнопке звонка. Лицо Вадика не поддавалось описанию – Юля не сразу его и узнала; первым порывом стало шарахнуться от сумасшедшего незнакомца, забравшегося в квартиру. В следующую секунду Юля все же припомнила синий домашний свитер мужа и только потом сопоставила с тем, на ком свитер был надет.

- Ч...то? – неожиданно лишившись голоса, просипела Юля.

Вадик будто не мог вымолвить ни слова – только хрипло задышался. Юля решилась войти. «Несчастье? – промелькнуло в ней. – Но по кому так убиваться?!».

- Несчастье? – все так же не своим голосом озвучила она свою мысль. – С кем?!

- С нами!!! – не то прорычал, не то прорыдал Вадик

...Юля сидела боком на ручке кресла, в котором предавался всем телодвижениям скорби ее муж. Ему пока так и не удалось обрести обратно человеческий облик; обхватив голову руками и скрючившись, он горестно мычал. Зато Юле и теперь не изменило ни здравомыслие, ни способность не терять головы. Она терпеливо приводила мужа в чувство:

- Ерунда это все. До понедельника ей не дожить. Ничего она не успеет, успокойся.

- А вдруг – успе-ет! – всхлипывал, раскачиваясь, Вадик.

- Чушь. Сегодня пятница. Завтра или, крайний срок, после завтра начнется агония. Какой там нотариус, о чем ты говоришь?

- А если – не начне-отся?! – продолжал свою волюнку ее муж. – Сама же врач, знаешь, сколько это может тянуться... Может, полдня, а может – неделю...

«А ведь возможно и так, черт ее знает...» – хладнокровно подумала Юля и попыталась посмотреть Вадика в лицо. Ей это не удалось: закрыв глаза, он сосредоточенно терзал свои и без того поредевшие волосы.

- Ты прав. Надо что-то предпринимать, – спокойно произнесла Юля. – Повтори точно, что она сказала. Да не мычи ты, приди в себя! – и она сильно тряхнула раскисшего супруга.

Он очнулся и забубнил:

- Что сказала, что сказала... Рехнулась старая шлюха... Я, говорит, все обдумала... Вы, говорит, не взыщите... Вы, дескать, молодые, у вас и так все впереди... А мне надо душу спасти... Дура! Какая там у нее душа может быть! Деньги на строительство церкви решила пожертвовать... Поп ее там охмурил какой-то... Конечно, так он и построил на ее денежки церковь – держи карман шире...

- Поп? – и Юля сразу же вспомнила подозрительного молодого человека с простодушным лицом, про которого тетка однажды коротко бросила «знакомый». – Так, дело плохо: эти если в кого вцепятся, так намертво. Душу эту самую вынут вместе с деньгами... Считай, переубеждать бесполезно... Другое что-то надо придумать... Разве нотариуса купить? – начала вслух размышлять она. – Посулить побрякушку покрасивше сразу после ее смерти – и завещания как не бывало. А? Как думаешь? С другой стороны, тут просчитаться нельзя: если вдруг честный попадет, то крышка... Вот влипли, что делать-то будем, а?

– Да я задушу ее вот этими руками!!! – загремел вдруг Вадик, вскакивая на ноги и тыча растопыренные пятерни прямо в физиономию жене.

Лицо Юли изменилось. Она прикусила губу и несколько раз быстро глянула на мужа, сразу же отведя глаза.

- Шею ей сверну!!! – вовремя не остановленный, распаялся тот. – Как курице!!!

Юля медленно встала и подошла к Вадику. Где-то в районе сердца кольнуло, сжалось и – отпустило. Она глубоко вздохнула, встретила, наконец, с мужем взглядом, и он затаил, словно выключенный из розетки. Четко, отдельно и непрерываемо Юля произнесла:

- Это не выход. Слишком бросается в глаза. Другой способ найдем...

...Теперь они сидели рядышком на диване, тесно прижавшись друг к дружке и переплетя руки. Уже давно они не соприкасались так тесно, не ощущали такой первозданной гармонии, радости и близости. Как будто вернувшись в медовый месяц, муж и жена интимно шептались уста к устам.

- Она ничего сейчас не ест. Вдруг не станет?

- Птифуры – станет. Она до них всегда была сама не своя. Хоть парочку — да съест...

- Подожди-подожди... Она съест, помрет, а оставшуюся коробку сестра заберет... В сестринскую... Они там перемрут — тогда и выяснится...

- Нет... Я врач, меня там все знают... Изобразю глубокую скорбь, останусь ночевать в больнице – якобы, чтобы успеть проститься, если что... Яд подействует, по нашим расчетам, когда?..

- В районе двух часов, не раньше...

- Вот-вот... А я буду все заходить ее вроде бы проведывать... А увижу, что кончилась, птифуры заберу до того, как поднять тревогу...

- Ты точно знаешь, что не дойдет до вскрытия?

- Да кому это в голову придет – рак четвертой стадии!

- Верно... Да и мы ведь врачи и родственники... Вскрытие без согласия родственников теперь не делают, да и то, если есть подозрения... Еще удивляться будут — почему раньше не померла...

- В любом случае, нас уважат как коллег... Скажем, не хотим, чтобы бедную пострадавшую тетюшку после смерти еще и кромсали...

- Без вопросов... Для них случай ясный... Так значит, что решаем?

- Просто... Я с утра бегу за птифурами, а ты – в свою больницу за ампулой... Потом птифурчики наколем так аккуратненько – ни одна собака не догадается...

- Да... И ты к ней... Главное – бдительность усыпить... Скажи ей поласковой – пусть, мол, не волнуется, мы не в обиде, мы об этом не очень-то и думали... И все такое... Пусть тетечка Ирочка кушает на здоровьице...

- А точно подействует? Ни в какую там реакцию с сахаром или еще с чем – не вступит?

- Ты чего, это тебе не цианистый калий, а она не Распутин... В лучшем виде очокурится... Да ей на ночь еще и наркотик всадят. Заснет сладко и дело с концом...

- Слушай, а ведь мы – того... Это ж убийство, а мы так спокойно...

- Тоже мне убийство! Если б она здорова была – другое дело. А так... Днем раньше, днем позже, какая разница!

- Тоже верно... И вообще смерть легкая... Лучше, чем в агонии она бы билась... Мы же справедливость, в конце концов, восстанавливаем...

- Правильно. Мы не виноваты, что она рехнулась... Отдает все постороннему человеку, а племянницу – побоку. Это ж ясно, что нормальный человек такого не отмочит!

- Конечно, спятила... Да кому докажешь...

- Никому, так что живи спокойно...

- И ты тоже..

- И ты...

Юля и Вадик любовно смотрели друг другу в глаза, нежно гладили руки и думали: «А может, и не нужно спешить с разводом? Может теперь, с деньгами-то, у нас все по-новому пойдет?»; «А она не такая уж и противная, Юлька. И хорошо, что голова у нее лучше моей варит: с такой женой не пропадешь, всегда вытащит».

И внезапно, в порыве нахлынувшей неборимой страсти, супруги судорожно обнялись и, громко шепча и фыркая от обуревавшей новой радости, принялись неистово целоваться.

Никогда не забыть мне той первой ночи после возвращения из леса. Тогда мир словно осветился вокруг меня, и я впервые металась от счастья без сна на своей узкой кровати и строила безумные планы, раскармливала несбыточные, но казавшиеся такими реальными запоздалые мечты. Я вставала, бродила, как чумная, ложилась опять, снова вскакивала; то курила, то глотала корвалол, то бросалась к равнодушному зеркалу или к медленно светлевшему окну...

А в понедельник, когда я, нарядившись в самый любимый свой костюм цвета кошачьего поноса (в другой интерпретации – горчичного) появилась на педсовете и украдкой оглянулась на него как предполагаемого единомышленника, имея в виду просигнализировать ему – мол, вот до чего директриса договорилась – он вдруг впервые не ответил мне безмолвным согласием, а отвел глаза, будто разом отрекаясь от позавчерашнего дня, от всего сказанного и прочувствованного вместе...

И больше ничего не было. Только один сентябрьский день мелькнул и погас, не дав ни ответа, ни радужных искр. Ничего. Никакого продолжения. Опять те же взгляды и фразы в школьном коридоре. Те же? Нет, он явно стал меня избегать. Никогда больше не заговаривал первым, а на мои слова отвечал после некоторой паузы, как бы решая каждый раз – надо ли? Не ограничиться ли просто отстраненной улыбкой или неопределенным кивком? Я чувствовала, что скоро так и будет, и медленно сползала с ума.

После уроков я не могла теперь идти домой к телевизору, вязанью, книгам и одинокому незатейливому ужину, а бродила по Ленинграду, который именно осенью, в ноябре, и весной, в марте, располагает одним своим видом к попытке суицида. И действительно, однажды мне пришла ясная и законченная мысль – кинуться в Неву с Дворцового моста – туда, где вокруг опор закипала черная, притягивающая взгляд любого возможного самоубийцы вода. Плавать я не умею; и без тяжелого пальто и камня на шее молниеносно пошла бы ко дну, а ледяная вода довершила бы дело, убив меня шоком и избавив от мук захлебыванья...

Все это четко представила я, навалившись однажды во время осенних каникул на гранитный парапет... Была одна загвоздка: как через него перелезть? И я стала холодно планировать, как повернусь к нему спиной, после пары-тройки неудачных попыток на него усядусь, после чего останется только перекинуть ноги и... Позвольте, лучше ведь бросаться не ногами вниз, а головой? Значит, нужно свесить ноги и сколь возможно наклониться вперед?

- Гражданочка, вам не плохо?

Милиционер. Сержант. Из тех, что торчат в той будке, про которую я забыла. Молоденький, добродушный, готовый вот сейчас чем угодно помочь. Берет меня аккуратно под руку, разворачивает, довольно бесцеремонно нащупывает пульс между перчаткой и рукавом...

- Сердце-то у вас, гражданка! Пойдите-ка спокойно...

Прислоняет меня, как готовый упасть столб, к парапету.

- Тут вот у меня имеется на такой случай...

Что-то пихает мне в рот – грязными? – руками... Ментоловое... Валидол?

- Под язычо-ок... Под язычо-ок... Вот та-ак...

Мама у него врач, что ли?

Потом бреду по мосту к Бирже. Дождь не дождь, а привычная наша морось, от которой коренному питерцу считается неприличным прятаться под зонтом, ибо это всего лишь «Божья роса»... Но пальто набрякло влагой, черно-бурый воротник стал похож на облезлую крысу... (Да, что-то моя Лизиска уже второй день не появляется; вдруг померла-таки первой?)

Такие прогулки повторяются ежедневно. Я без страха брожу до глубокой ночи, ужинаю в забегаловках, начинаю даже выпивать – в одиночку, худший вид пьянства... И постоянно ищу ответ на короткий вечный вопрос – почему?

Пока, наконец, не нахожу: испугался.

Да, да, просто – испугался!

Не меня, не чувства своего и моего – а того, что все придется начинать – заново. Расстаться с родной иллюзией бытия, когда Можно смотреть на жизнь всегда со снисходительно-насмешливым прищуром превосходства, видя и невозмутимо перешагивая мелкое мельтешение презренного мира, усмехаясь на насекомый и всегда бесполезный труд раздутых от самомнения людишек, которые не сегодня-завтра превратятся в попираемую ногами нового скептика жирную черную землю... А войди я в его жизнь – оказалось бы, что все это не то и не так. Потому что Любовь, непрошено вторгшаяся, своим существованием на земле опровергает убеждение о незначительности бытия, требует и получает человеческую душу, наполняя ее великим смыслом – собой. Человек, от любви зарекшийся, инстинктивно всегда боится, чуя, что она есть и в любой момент может обрушиться, раздавить и изломать. Меня, как Возлюбленную, уже не сбросить было бы с жизненного счета, не глянуть на меня свысока – так на любимых не смотрят, если это человек, а не кошка!

Вот он и решил, пока не поздно, пока есть путь к отступлению – задушить в зародыше любовь – и тем избежать самому такой же участи...

Перед зимними каникулами я краем уха уловила однажды во время завтрака реплику завуча за соседним столом: «В середине года! Скотина! В какое положение нас ставит!». Ни имени, ни предмета не было произнесено, но я уронила ложку и ни о чем не стала расспрашивать. Идя на работу после каникул, я уже знала: его там нет.

Что оставалось? Проглотить и забыть? Я старалась, я честно пыталась – даю Вам слово. Такое, может быть, удастся в двадцать, когда впереди еще тьма-тем возможностей – только не упусти! – но в сорок, да еще когда это случается в первый раз... У меня не вышло.

Жизнь превратилась в ад.

Я механически вставала в семь часов, бесчувственно глотала кофе с парой бутербродов, потом, сдавленная со всех сторон, ехала в подземке на работу; шесть часов без вдохновения таранила ненавистные чужестранные слова и выслушивала ответную чушь; в промежутках – жевала, улыбалась, насильственно растягивая резиновые губы, поднимала руку на педсоветах, а потом шла в черный с четырех часов город, где не было ни одного дорожного места... Рассказать, до чего я дошла?

Однажды в воскресенье поехала на ту станцию, где в сентябре все так удачно набрали грибов – и сначала провалилась в лесу в снег по пояс, а потом долго, до полного околечения, в совершенном одиночестве стояла на деревянной платформе... Трагедия часто оборачивается гротеском. Моя тоже не избежала этой участи. К тому времени, когда я, убедившись, что превращаюсь в кусок замороженного мяса, решила уезжать, электрички, до того исправно открывавшие для меня одной игнорируемые мной двери, вдруг перестали останавливаться на этой станции без названия. Наверное, три, с перерывами минут по сорок, с веселым воем проскочили мимо, я уж готова была лечь и умереть без страданий, когда четвертая все-таки остановилась. И я долго залезла в тамбур на высокую ступеньку, упав там на четвереньки, а потом потешно ковыляла по проходу под равнодушными зимними взглядами сонных пассажиров...

Но с того дня произошел перелом, приведший к трагедии, на этот раз без смягчающего фарса.

За все это время я намеренно не упомянула о главном действующем лице – его жене Ирочке. А именно она в те мрачные месяцы стала для меня проклятьем и живым ежедневным ужасом.

Я уж не помнила и не думала о том, что для мужа Ирочка – всего лишь «хихикающая идиотка», а только видела существо, чья жизнь по недоразумению накрепко связана с его жизнью. И я мучительно представляла себе, как ежедневно они сходятся в одном доме, как сотни непримечательных мелочей связывают их: тут и брошенная на стуле вчерашняя рубашка, и недопитый стакан чая, и влажное полотенце в ванной, и лыжи на балконе, и грозящее переполниться мусорное ведро – все эти говорящие детали совместного, пусть даже опротивевшего быта... И многое другое, ранящее: она, эта женщина, знает, как он

ест, ходит, каким жестом откладывает утреннюю газету, наскоро допивая кофе и доглатывая последний бутерброд; каждый день видит, как он снимает куртку, устало и небрежно пихая ее в шкаф, помнит какие-то особые, сокровенные словечки, ужимки, которых мне никогда не видеть. Все у них общее: ночник перед сном, коврик у кровати, забытый под ней чей-то шлепанец, персидская кошка с плоской мордахой, будильник, который кто-то из них наощупь душит в седьмом часу утра... Я не думала и не мучилась их интимной жизнью: Ирочка не была для меня ласкаемой женщиной, а просто чем-то вроде безмолвного свидетеля сокровенных тайн его домашней жизни. Таким могла стать даже собака и, будь Ирочка собакой, – она не меньшую зависть вызывала бы во мне. О, это не означало, что я готова была стать чем угодно, даже его верным псом – нет! Но мне хотелось, мечталось, вожделелось проникнуть и контрабандой подсмотреть запретное, доступное и канарейке, имейся она у него! Если б жили они не на четвертом, а на первом этаже, то знаю – я ежевечерне повторяла бы вслед за влюбленными всех времен их самую большую и возмутительную глупость: бродила бы бесцветной тенью под окнами, надеясь в щелку штор углядеть случайный взмах руки и празднуя как особое торжество дату, когда однажды шторы задвинули по рассеянности на полчаса позже...

Но окна находились высоко, и мне оставалось только жадно разглядывать на работе действительно глупую Ирочку, бледную копию моего покойного Ленусика. Незаметно я подружилась с ней. Моя тезка радостно сообщила, что мужу удалось устроиться редактором в толстый солидный журнал, и он очень этому рад, так как учительство всегда претило ему. Я узнала, что Ирочка деятельно лечится от бесплодия, надеясь таким образом намертво припаять все время ускользающего мужа: бедняжка всерьез считала, что его «некоторая холодность» происходит от отсутствия детей, а вот роди она ему мечтанного наследника – и жизнь заиграет дотоле невиданными красками!

Бедная дура! Если б она осталась жива и ухитрилась родить своего первенца... Представляю, от какого грандиозного разочарования она избавилась!

Ибо я решила убить ее.

«Как, каким образом вы до этого дошли?!» – вот Ваш внутренний возглас, я почти слышу его сейчас.

Дошла. Дошла мне и самой неизвестными извилистыми путями — теми же путями, какими и всякий, доходящий до умышленного убийства. Не думайте, это не была тошнотворная банальность под названием «устранение соперницы». Теперь мне трудно объяснить, но тогда само физическое существование на земле живого существа, имеющего свободный и законный доступ туда, куда путь мне заказан, отравляло мне не жизнь – жизни не было – а воздух, которым я дышала, пищу, глотаемую мной, воду в моем стакане... Я чувствовала чудовищную несправедливость предпочтения, отданного жизнью такой никчемной особи как Ирочка. Будь она собакой, я отравила бы ее крысиным ядом не задумываясь. Но она называлась человеком, и ее смерть неминуемо повлекла бы за собой пулю в затылок для меня или, еще хуже, пятнадцать лет колонии строгого режима. Мне же хотелось торжествовать безнаказанно...

Думала ли я о том, что, овдовев, он позовет меня? Думала и допускала. Ведь не уходят же посреди учебного года с работы из-за безразличной женщины – так бегут лишь от самого себя. И та пустота, которая образуется после смерти Ирочки, потребует заполнения. А готовая кандидатура – я. После шока, обязательно следующего за насильственной смертью пусть и нелюбимого, но близкого человека, уже невозможно заполнить пустоту существом, ему подобным. С ним мог случиться потрясающий перелом, дающий единственную возможность пересмотреть свою жизнь и круто повернуть ее – а такой поворот мог привести только ко мне... Но как я рассчитывала выстроить свою жизнь на чужой крови?! – в ужасе спросите Бы. А так и рассчитывала. Кровь Ирочки и всех, кто похож на нее, значила для меня тогда не больше, чем пятно, остающееся на потолке от раздавленного комара. Комара ведь давят не за то, что он кусает, а за то, что нестерпимо звенит среди ночи...

Ирочка звенела вовсю. Она без передышки рассказывала о своих новых платьях – их

была у нее целая гора, она ежедневно меняла туалеты; ее до слез могла расстроить случайная царапина на лакированной туфельке или потерянная необыкновенная пуговичка от блузки. В магазине она выбирала нижнее белье так же истово, как миллионер – редкий бриллиант и, когда, наконец, добиралась до искомого, то ее пустые голубые глаза загорались настоящим похотливым блеском, точно у старого сладострастника... Она по два раза в неделю перекрашивала свои длинные волосы, так что я даже не знала, каков был их природный цвет, бесконечно сидела на экстравагантных диетах, чтоб навеки сохранить точеную фигурку – словом, предавалась всем изыскам полных ничтожеств...

В конце зимы она сообщила, что муж уезжает к родственникам на пару недель, она остается «скучать в одиночестве» – и тогда я назначила ее безвременную гибель на Восьмое марта.

В тот миг, когда я это бесповоротно решила, я чудесным образом перестала страдать. Страдания вытеснились беспрестанными размышлениями о способе, каким приговор будет приведен в исполнение.

Отравление, застреление, удушение и выбрасывание из окна были мною сразу отвергнуты. Отравить, при моих познаниях в химии и медицине, можно неудачно. Застрелить не из чего, кроме того, пистолеты всегда таинственным образом приводят к убийце. Удушить может не хватить сил – и удушат меня. Выкидывать из окна рискованно – старушки в доме напротив всегда начеку, да и с ее четвертого и даже с моего седьмого можно насмерть и не убиться...

Зарезать? Но как это делается? С первого раза не обязательно достанешь до сердца, а прелести фонтана крови из перерезанного горла или многократное тыканье в жертву кухонным ножом – удовольствие не для меня.

Тогда я вспомнила про самый простой способ, которым, может быть, было совершено если не первое, то уж точно второе убийство на земле. Речь идет об ударе тяжелым предметом по голове.

Дальше все просто. Мне можно было не заботиться ни о стирании отпечатков пальцев, ни об уничтожении других следов своего пребывания в доме – ибо кого удивит, что подружка забежала в гости к подружке? А то, что мы дружили, ни у кого давно не вызывало сомнений... Мотивов у меня тоже не наблюдалось: даже если б каким-нибудь чудом и узнали о том дне ранней осенью в лесу... Какому нормальному человеку пришло бы в голову, что именно там пустило корни чудовище по имени «Умышленное Убийство»? Никто никогда не сможет извлечь на поверхность мою уродливую душу и вычленив из нее месяцы мук и метаний!

И день тот настал.

Но раньше я была введена в святилище – его дом. По всем правилам жанра, мои представления о нем оказались, как нарочно, прямой противоположностью увиденному. Никаких вам рубашек, чашек, ведер и лыж. Стерильность и асептика, как в операционной. Абсолютно безликая и бесхарактерная квартира – можно подумать, что зашел в дом-музей, хотя и там, согласно современной моде, принято создавать иллюзию кратковременного отсутствия хозяев, устраивая мнимый художественный беспорядок.

Выясненное мной психическое помешательство Ирочки еще и на чистоте добавило очко не в ее пользу: определенно, этот вредный элемент следовало немедленно изымать! Орудие убийства оказалось необязательным приносить с собой: оно красовалось прямо на зеркальном шкафу с нарядами и представляло собой чугунную статуэтку, точно копирующую неутешную пушкинскую деву. Что же, она будет единственной, кто оплатит Ирочку, спокойно подумала тогда я. Не приходилось даже придумывать обстоятельств казни, они напрашивались сами собой: нельзя сделать осужденной ничего более приятного, чем попросить ее продемонстрировать туалеты... Далее – взять плакальщицу и обрушить на податливый череп – это уже дело техники. Но, надо сказать, представить себе этот момент я не могла – просто *думала*, что поступлю так-то и так-то...

Труп пусть находит потом кто хочет, и сразу, конечно, милиция выйдет на меня... Да, была... Да, сидели, отмечали... Конечно, везде заходила... И волос мой... И окурки...

Распрощалась и ушла домой... Ужасное несчастье... Невосполнимая потеря... Я, пожалуй, и слезу сумела бы выжать.

...Ирочка поила меня зеленым, с детства ненавистным чаем с тортом, с боем взятым накануне в «Севере», – готовить совершенно не умела, в чем сама застенчиво призналась как в единственном трогательном недостатке. И печенье, и варенье – все было покупное. Мы разговаривали, если можно назвать разговором ее беспрестанное смешливое тарактенье, для приличия прерываемое моим тоскливым «Да неужели?!». Насколько помню, речь шла о материалах, ателье, какой-то потрясающей отделке, которой выпала честь украсить Ирочкино платье. Она сообщила, что готовится в нем... («Лежать в гробу», – помнится, подумала я, да так оно впоследствии и вышло.)

Пригласить ее к шкафу и убить я могла уже раз сто, но все оттягивала момент: с непривычки не сразу решишься, знаете ли... О чем я думала? Ни о чем. Никаких внутренних истерик, дрожащих рук, раздирающих колебаний. Я вся была ледяная пустыня – без мыслей, чувств и мучений. Такая, какой будет Земля ядерной зимой. Требовался только маленький внешний импульс, чтобы начать. Наверное, я подспудно ждала, чтобы толчок дала сама Ирочка – пригласила бы меня на собственную казнь. Я знала, что рано или поздно она это сделает. И она сделала.

Кокетливо улыбнулась и, словно решаясь на небывалое преступление, понизив голос, проворковала:

- Какие-то мы с тобой, Ирка, правильные... Трезвые какие-то... Ты не находишь? Я, конечно, без мужа себе не позволяю, но все-таки... Муж далеко, не обидится... Может, я сбегаю за чем-нибудь... тепленьким... А?

Я сразу поняла, что это сигнал, именно таких слов и не хватало. Если я собираюсь что-то делать, мне необходимо *встать* из-за стола и больше – не садиться. Это самое трудное, тут нужен предлог – и вот он нашелся...

- Ты сиди, я слетаю! – выпалила я и, не дав ей возразить, рванулась к двери.

Я только сунула в карман кошелек, накинула пальто и запихнула ноги в боты, не став надевать даже шляпу: нужный магазин находился в первом этаже дома.

- Я не закрываю! — донеслись до меня ее последние слова.

Лунатически выскочив вон, я почему-то не воспользовалась лифтом, а бросилась сломя голову вниз по ступенькам, налетела с размаху на мрачного мужика, тоже предпочитавшего шагать пешком, дико извинилась, подвернула ногу – и градом высыпалась из подъезда. Холодный ветер свирепо толкнул меня в грудь, отмахнул назад волосы. Только сейчас я поняла, что давно пылают огнем щеки – их обожгло морозцем. Я вдруг забыла, куда и зачем шла, и направилась напрямик через оживленную улицу, не обращая внимания на визжавшие кругом тормоза и мат грозивших мне из окон водителей машин. Наверное, в те минуты я на время легонько помешалась, так как понимала, что именно делаю, но с какой целью – того определить не могла и не пыталась...

Опомнилась лишь в каком-то переулке, совершенно не зная, как я в нем очутилась, и куда теперь идти.

Мне было как-то не по-человечески, а по-скотски холодно – так, что в прямом смысле щелкали зубы, а все тело тряслось крупным трусом. Я вспомнила, что хотела сделать: принести Ирочке бутылку, поставить ее на столик в прихожей, завлечь Ирочку в спальню к чугунной деве... И поняла, что делать этого не стану. С меня вмиг спало наваждение, во власти которого я неизвестно как прожила два месяца, и, более того, преступная любовь сразу и без возврата покинула мою душу. Сотрясаясь, я расхохоталась в пустом переулке: «Господи!.. – захлебываясь, повторяла я вслух. – Что я собиралась сделать... Угробить одно... ничтожество... Чтобы получить себе... другое...» – и меня колотило в горячечном приступе внезапного прозрения. Я рыдала и хохотала, прислонившись спиной к глухой стене, мотая во все стороны растрепанной головой и давясь. Так прошло, наверное, четверть часа – и припадок стал утихать.

Я деловито застегнулась, подняла воротник и зашагала к Ирочкиному дому. Никакого вина я с ней пить не буду. Я просто заберу свою сумку, шляпу и перчатки – и пойду

домой, потому что распивать с этой пустой самочкой может только ненормальная. Больше я никогда не подойду к ней в школе – и пусть думает, что хочет. А что касается его, то... Да что я, правда, в уме порешилась, чтоб забивать себе голову этой пошлой пародией на Печорина?! Смех, да и только...

Наверх я собралась, как порядочный человек, ехать в лифте. Но он упорно отказывался вызываться: очевидно, подростки устроили там праздничные катания, притом, что на сей раз уже я едва не была сбита с ног мчавшимся вниз семипудовым мужиком, волокшим, вдобавок, за собой два битком набитых чемодана. На поезд, вероятно, спешил, бедолага...

Я толкнула входную дверь, по обещанию не запертую Ирой. Вошла в маленькую прихожую. Остро помню свет настенной лампы у зеркала, мягко зеленый из-за оттенка стеклянного колпака.

- Ира! – крикнула я в направлении кухни. – Ты извини, тут такое дело, мне сейчас уйти придется!

Одновременно я искала глазами свой верный изящный портфель, смутно удивляясь, что не нахожу его.

- Ир, ты куда мою сумку положила?

Но в квартире стояла тишина. Живая тишина из той породы, что по неизвестным причинам вызывает ужас.

- Ира? – я двинулась по коридору, с каждым шагом внутренне убеждаясь, что происходит нечто очень страшное; голос сам собой приобрел тот тембр, с каким говорят в минуты великих потрясений. – Ира? Ира, ты дома?

Дверь в гостиную я открыла тихо, еще не вполне паникуя: у меня мелькнула мысль, что хихикающая идиотка решила произвести дурацкий розыгрыш. В гостиной не было ничего, кроме абсолютного порядка.

- Ира, перестань шутить, мне нужно идти, – безуспешно пытаюсь придать голосу строгость, говорила я, подходя к двери спальни.

Положив пальцы на дверную ручку и нажав на нее, я замерла: мне почудился странный звук – что-то вроде капающей воды, только громче...

- Ира... – прошептала я. – Что случилось?..

Вопрос был безнадежно глуп, потому что, вместо того, чтобы его задавать, следовало просто толкнуть дверь и войти. Но я решилась на это не так скоро, а до этого, припав к двери телом, зывала:

- Ира... Ирочка... Что с тобой? Ты слышишь меня?..

Но Ирочка не слышала. Она полулежала на полу, уронив голову на низкий столик у кровати. Волосы, выкрашенные на этот раз в серебристо-платиновый цвет, слиплись от почти черной крови. Кровь собралась в густую лужу на столике и медленно, с перерывами, тяжело капала на пол, в другую лужу, где валялась чугунная статуэтка, изображавшая скалу с грустной девушкой и разбитым кувшином. Статуэтка выглядела как-то не так, как я ее запомнила, но об этом некогда было думать, потому что рядом с кровавой уже не лужей, а набравшим скорость ручейком валялось то, чем она была в действительности убита.

Тот, кто хотел облегчить мне исполнение ранее задуманного, не успел догадаться, что я перерешила...

Было следствие, меня допрашивали. Имевшие место факты я выложила без утайки. Если и были у следователя какие-то подозрения, то ему пришлось быстро от них отказаться, потому что преступник вскоре сам попал в лапы милиции, когда пытался сбить Ирочкины выходные туфли у входа в универмаг. В логове у него обнаружили практически все, вынесенное из квартиры: в основном одежду, обувь, шкатулку с украшениями и – мой портфельчик. Убийца – асоциальный тип – ничего не скрывал. Да, поднимался на знакомый чердак, чтоб там выпить. Увидел приоткрытую дверь, заглянул наудачу. Обнаружил, что в квартире только одна молодая женщина. Она была в спальне, стояла у открытого шкафа. На шкафу увидел статуэтку из чугуна, схватил ее... Убивать не

собирался, думал легонько стукнуть, чтоб оглушить. А статуэтка оказалась из папье-маше, легкая-легкая... Он ее отшвырнул, и она лопнула... Женщина так визжала, что могли сбежаться... Надо было ее как-то унять. Он не соображал, что делает, только хотел, чтоб она затихла... Достал из кармана нож, хотел пригрозить, но женщина еще громче разоралась... Тогда он схватил ее за волосы и полоснул по горлу... Только чтобы молчала... Она упала на колени, головой на столик... Захрипела... Да, тут он понял, что убил... Но дело-то уж было сделано... И вообще он «под мухой» находился... Решил, что не зря же зарезал, надо и пожить наскоро... Под шкафом два чемодана нашел... Напихал в них что попало... Шкатулку с трюмо прихватил, в прихожей – портфель с полки... И побег... По дороге бабу какую-то чуть с ног на лестнице не сшиб... Прибежал к себе едва живой... Раньше-то без мокрухи обходился... Попутал бес окаянный...

Преступника судили, дали пятнадцать лет. На суде весь наш коллектив обливался слезами, как и раньше на похоронах, идя за гробом, где лежала Ирочка в том самом платье с необычной отделкой, в котором готовилась где-то блистать, а я так и не вспомнила, где...

Мой бывший возлюбленный и правда пришел ко мне вскоре после похорон. И оба мы удивились равнодушию, с каким я его встретила.

Итак, друг мой, я – убийца. Самый идеальный из всех, когда-либо существовавших в природе.

...- Ну вот, приятно посмотреть! – радовался о. Димитрий, выходя из палаты. – Вещь какая великая и – страшная: вы ведь теперь безгрешны. Как есть – безгрешны, Ирина Викторовна, раба Божия Ирина.

- Совсем-совсем? – после недели почти постоянного лежания Ирина впервые поднялась и провожала теперь священника по коридору.

Он шел медленно, принаравливаясь к ее тихому шагу, и вдруг поймал себя на шальной мысли: «А что! "Едино крещение во оставление грехов"... Болезни по грехам даются, а она теперь все равно что святая... Непорочная... Вдруг возьмет – да и выздоровеет?! От рака в последней стадии, а?! Дивны дела Твои, Господи! Бывают же чудеса... Ведь недаром же встала сегодня, а раньше-то еле шевелилась!». Он твердо ответил:

- Совсем-совсем. Из купели вышли – как новенькая. И Ангел-хранитель к вам теперь приступил. Вот и Пасха завтра, Светлое Христово Воскресенье, я приобщить вас приду, поздравить... Видите, как вам сразу после таинства полегчало!

Ирина остановилась, сосредоточенно посмотрела вперед, поджав губы. Потом сказала:

- Нет... Не успеете уже. Да, вот еще... Если все-таки успеете, то тетрадку завтра и отдам. А нет – в тумбочке у меня лежит, зеленая. Вам адресована...

- Ну вот, глупости, «не успею»! – обиделся о. Димитрий. – Теперь только и жить, с крестом-то. На Бога уповайте, и все будет хорошо...

Сделав еще несколько шагов, они оказались у двери. Ирина прошептала:

- Хорошо, да... – и встрепенулась: – Благословите, батюшка! – она растерянно встала перед священником.

О. Димитрий сразу деловито обучил новообращенную, как складывать руки, благословил, проверил, твердо ли она усвоила способ правильно творить крестное знамение, и, распрощавшись, удалился твердой размашистой походкой: он был очень горд и счастлив, что сподобил его Господь вернуть в Его разбредшееся стадо еще одну бестолковую овцу-потеряшку.

- Сами-то дойдете обратно? – услышала Ирина рядом чей-то голос.

Она тяжело повернулась и увидела медсестру Ларису Васильевну, замершую перед ней в стойке готовности. Собрав все силы, Ирина решительно отклонила помощь:

- Попробую, – тихо, словно хрусталь перед собой неся, двинулась в обратный путь, а сестра плелась сзади с явным намерением подстраховать, если что: утром она получила полтинник и теперь отработывала.

Доковыляли до палаты. Больная уж было ступила за дверь, как вдруг Ларису Васильевну осенило:

- Ирина Викторовна, миленькая! Вы ж в понедельник нотариуса хотели – так он здесь уже! В триста пятнадцатой сидит, родственник чей-то, бумагу оформляет! Может, позвать его и к вам?

И тут она стала свидетелем необычайного явления: привычно темное, невыразительное лицо с парой мрачных глаз в один миг не то что озарилось – вспыхнуло! За какую-то секунду на нем неуловимо сменилось несколько недоступных выражений, словно шла острая, жгучая, болезненная борьба.

- Вот как, значит... – как бы внутрь себя проговорила смертница, явно и мучительно волнуясь, и, как по приказу, будто вмиг сжала сама себя в кулак. – Пригласите, – прозвучал ее обычный, отчетливый и повелительный голос.

И она закрыла дверь перед носом медсестры.

В результате этого короткого разговора, в то самое время, когда за четверть часа до окончания впуска посетителей, нарядная, в меру веселая и ласковая Юля входила к тете в палату, с ходу распахивая объятия – все было уже кончено: один экземпляр только что подписанного и заверенного по всем правилам завещания покоился у Ирины в тумбочке, вложенный в зеленую тетрадку, а другой в дипломате нотариуса ехал в машине, чтобы в понедельник лечь на полку нотариальной конторы.

Но Юля этого не ведала, потому что Ирина, пожалев ее, не захотела ничего рассказывать заранее: «Что уж теперь... Узнает еще...» – и, немножко чувствуя себя Иудой, расцеловалась с племянницей. Сегодня она получила в подарок большую коробку пtifуров – лакомства, вызывавшего у нее с самого детства чувство, сравнимое только с нездоровой похотью. Раньше она могла, не моргнув глазом и не заболев животом, в один присест умять такую коробку, сожалея лишь о том, что та маловата. Но теперь дело обстояло иначе: глядя на соблазнительно открытую Юлей упаковку, вдыхая сладкий, жирный запах, воскрешавший в памяти что-то волнующее, трепетное и светлое, она почему-то не торопилась приняться за угощение...

Ирина знала, что это уходит жизнь, а вместе с ней – и все символы плотских радостей загодя стираются, перестают быть привлекательными и желанными...

А Юля сегодня не зря нарядилась с особенным старанием: именно в эту ночь дежурил один молоденький смазливый доктор. Всегда во время Юлиных приходов он очень убедительно стрелял в ее сторону большими плюшевыми глазами и приглашающе лыбился, полагая, очевидно, что может прельстить стройную коллегу-красотку своей стерильно вымытой особой.

В ординаторской, выйдя от тетки в десятом часу, Юля грузно, словно придавленная непосильной ношей, опустилась на стул перед ошеломленным от радостного предчувствия эскулапом. Она подняла на него трагическое лицо, как бы дрожащее от невыплаканных слез – и молодой дурак сразу почувствовал себя сильным, красивым и надежным мужчиной, призванным утешить, как получится (чем больше, тем лучше) убитую горем хрупкую беззащитную девушку.

Юля тяжело выдохнула, горько кривя рот:

- Умирает тетя... Не могу больше. Не могу, – она выдохнула еще раз, сглотнула, и в глазах проступило настоящее отчаянье.

«Плохо дело, – подумал доктор. – Если она в такой печали, то ее, пожалуй, сегодня ничем не проймешь».

- Вы очень ее любите? – сочувственно спросил он.

Юля придала своему лицу такое выражение, какое видела в кино у актеров, когда они изображали мужественных героев, стойко переносящих страшное, непоправимое несчастье.

- Как мать, – она скомкала губы, и взгляд ее стал неподвижным. – С детства со мной. На ноги поставила. Образование дала. Личной жизнью пожертвовала. Сирота я, с пяти лет... – в голосе засквозили с трудом сдерживаемые рыдания.

- Но, коллега, – решил доктор. – Сами, как врач, знаете: помочь нельзя... Остается

только ждать. Мужайтесь – что тут скажешь...

Юля скорбно наклонила голову:

- Да. И у меня к вам, коллега... Как вас, простите, по имени-отчеству? Юрий Юрьевич, у меня к вам огромная просьба. Как у врача к врачу.

- Все, что могу! – с готовностью подскочил он («Телефон точно даст»).

- Я боюсь ее сейчас оставлять... Все не могу отделаться от страха, что приду завтра, а она... – Юля перевела дыхание, изображая, что колотящееся сердце не дает ей говорить. – Ну, вы понимаете... Так вот, мне хотелось бы быть, если что – рядом. Если она начнет... Хоть в глаза ей последний раз посмотреть... Закрывать их. У меня предчувствие сегодня, а мы с ней всегда... Вам не понять. Были связаны словно какими-то нитями. И вот теперь я чувствую... Словом, я вас прошу: разрешите мне где-нибудь в коридоре...

Такое вдохновенное вранье у Юли получилось впервые в жизни и, при всей его пошлости, оно не могло не дать результатов.

- Зачем в коридоре?! – вскричал тронутый историей сиротки Юрий Юрьевич. – Я вам открою кабинет заведующего! Там диван! Одна будете, располагайтесь, как вам удобно!

- Да. Спасибо. Я ложиться не стану. Я буду каждый час подходить к ней и смотреть. И если вдруг...

- Будите меня! Сразу будите меня! – преданно предложил врач.

А в палате любимой тетушки в половине одиннадцатого начали происходить любопытнейшие вещи. Птифуры были не тронуты. Даже запах уже не дразнил Ирину – вероятно, она принялась. Но больная проявляла все стереотипные признаки беспокойства: охваченная необычным томлением, она ворочалась, сжимала и разжимала руки, ей не лежалось, не спалось. Зеленая тетрадка была заполнена до корки – дело отпало само собой. Оглушенная вечерней порцией наркотика, замерла и боль. Болезнь ощущалась только как присутствие большого инородного тела в организме – твердого, тугого — казалось, при желании, можно нащупать его границы... Не жилось больной, не елось, не отдыхалось. Не думалось даже. И, свесив руку с кровати, она начала равномерно поскребывать дверцу тумбочки, еле слышно стучать по ней кончиками пальцев.

Через некоторое время снизу послышался неровный топоток, всколыхнулась свесившаяся до полу простыня, и явилась Лизиска. Она тоже сдала, хотя и не так явно, как хозяйка. От природы буро-черный, зверек словно вылинял. Он двигался не очень уверенно и, вдобавок, приволакивал заднюю лапку, но на самом деле не ее оберегал, а подросшую опухоль на бочке, неподалеку от паха.

Сделав над собой усилие, больная приподнялась на локте, чтоб видеть маленькую свою гостью. Крыса с готовностью припала на полу, ожидая всегдашней подачи. Необыкновенный, сладкий, восхитительный запах заставил ее замереть на месте. Но подачка заставляла себя ждать: человек просто без слов смотрел на животное. Наконец, тихо заговорил:

- Видишь, все-таки я – первая... Это в последний раз у тебя пир, моя Лизиска... И ты даже не представляешь себе, какой...

Перегнувшись, женщина осторожно спустила с тумбочки на пол открытую коробку птифугов, а вслед за коробкой постепенно, боком, сползла на пол и сама – вместе с одеялом. Крыса отпрянула было, не поверив привалившему счастью, но, когда хозяйка решительным жестом подвинула к ней коробку, быстро схватила лапами ближайший птифур. Ирина взяла другой.

- Вот что, Лизиска, – шепотом сказала она. – Я сегодня ухожу отсюда и больше... не вернусь. Поэтому извини уж, но это наш прощальный ужин.

Скушали еще по птифурчику, и по третьему, когда Ирина вдруг ахнула:

- Лизиска! Мне ж – нельзя! – и, словно крыса действительно нуждалась в обстоятельных пояснениях, продолжила: – Я ведь окрестилась сегодня, Лизиска! Я ведь православная теперь. А у них... гм... у нас... еще пост. Великая Суббота. Есть можно только завтра утром, а завтра меня уже не будет... здесь. Поэтому, – она широким жестом толкнула коробку в сторону едва не свалившегося от счастья зверька, – это все твое.

Лопай. А я...

И, пока ошалевшая крыса судорожно жевала и глотала, позабыв обо всем, Ирина поднялась на ноги, цепляясь за спинку кровати. Было видно, что двигаться ей чрезвычайно тяжело, что она мучительно насилует себя, имея неизвестную, но совершенно определенную цель. Медленными неточными движениями Ирина достала из тумбочки Юлин плащ и туфли. После такого напряжения ей понадобилось минут пять отдыха, чтобы потом попасть в рукава плаща и затянуть пояс. Далее началась эпопея с туфлями: это оказалось невероятно трудным занятием – зачихнуть в них распухшие у щиколоток ноги. Но она и с этим справилась, даже вытащила из кармана тонкий газовый шарфик и сумела повязать его на голову, проверив мимоходом, чтоб халат не был виден из-под воротника. Шатко держась, направилась к двери, но спохватилась. Вернулась к тумбочке и достала из ящика пачку денег. Выругалась задыхающимся шепотом:

- Чтоб тебе... Забыла Юле велеть доллары поменять... – и сунула в один карман стодолларовую бумажку, а в другой – зеленую тетрадку.

Взгляд ее упал на заметно округлившуюся за последние полчаса крысу: не замечая ничего вокруг, она быстро-быстро шевелила усиками над очередным птифуром. Но Ирина все же изобразила для нее одной подобие улыбки – как заговорщик заговорщику:

- Ну, Лизиска... Ты одна знаешь. Не выдай теперь! – и она тяжелым волочащимся шагом покинула навсегда свою палату.

В дальнем конце коридора маячил удаляющийся белый силуэт – медсестра спешила на соседний пост звать коллегу на ночное чаепитие. Фигурка в коричневом плаще двинулась в полумраке в противоположную сторону, к двери, ведущей на лестницу. Дверь открылась беззвучно, только мелькнуло на мгновение в ее стекле отражение матово горевшего белого плафона...

Под настольной лампой в кабинете заведующего Юля вертелась на диване, как на раскаленной сковородке. По ее разумению, тетка должна была уже заснуть, отведав птифуров – с тем, чтобы никогда не проснуться. Через пару часов Юли благоговейно заглянет к страдальце, потрогает ее пульс и поднимет тревогу. А молодому кобельку, что уж раз в восьмой заглянул к ней со своим сочувствием, хватит и трех минут, чтобы констатировать давно ожидаемую всеми смерть... Но сил терпеть больше не оставалось. И ровно в половине двенадцатого, когда колокола ближней церкви дружно ударили, призывая верных к пасхальной заутрене. Юля не выдержала. Она выскользнула из кабинета и с бухающим сердцем почти бегом рванула в теткину палату. Вдруг – уже?!

Света, конечно, не было, тетка, должно быть, приступила к переходу в вечность. Юля приоткрыла дверь, луч из коридора упал прямо на кровать. Пустую, только с простыней и подушкой. Одеяло валялось на полу.

- Тетя Ира? – тихо позвала Юля.

Она заглянула в уборную. Темнота и пустота.

Еще не беспокоясь, а только безмерно удивляясь, Юля бросилась в сестринскую, потом в ординаторскую, и вскоре поисками пропавшей деятельно занялся весь сонный персонал отделения.

- Что, где? Где она может быть?! – ломая руки, вопрошала Юля всех подряд до тех пор, пока санитарка, бегавшая вниз, в приемное, не доложила, сама изумляясь произносимому:

- В приемном сказали... Полчаса назад. Женщина, в плаще... Коричневом... Прошла прямо в дверь. Ее окликали, она не ответила...

- В коричневом?! – взвыла Юля. – Это ж мой!!

- Никак, сбежала? – возникла сбоку озадаченная сестра Лариса Васильевна. — На наркотике, четвертая степень? Едва шевелилась – и сбежала?! Да не может же быть-то такого, говорю вам!

- Да? А где тогда она по-вашему?! – неожиданно заорала совершенно кошачьим голосом Юля.

Секунду она стояла, не зная, на что решиться, а потом, растолкав столпившиеся вокруг

белые халаты, бросилась в кабинет с такой скоростью, словно сзади ее подпаливали.

Через минуту, проходя мимо кабинета, тоже немало удивленный Юрий Юрьевич приостановился и механически прислушался, а, прислушавшись, удивился совсем уж до крайности. Из-за двери несся голос, абсолютно не напоминавший женский и вообще человеческий: точно кобра шипела, периодически захлебываясь:

- ...говору ж-же... не понимаешь-шь, ш-толи, дурак... Сбеж-жала старая ш-шлюха... – и вдруг послышался плохо сдержанный визг: – Да не знаю я, куда! Она мне не доложила! Да, точно, точно, здесь всю больницу обыскали, говорят тебе! В приемном ее видели! Как, как, – черт ее знает, как, ведьму!!! Да не задавай идиотских вопросов, приезжай сейчас же! Да, сейчас... Найдем, куда она ночью денется! Немедленно, я тебе говорю! У приемного... Внизу... да!!! – слышно было, как с грохотом обрушилась трубка на рычаг – и Юрий Юрьевич, нахмутив брови, воровато проскочил дальше, бормоча себе под нос: «Ну и делишки... Так-так-так... Сироточка-то, а?».

А Юля уже мчалась по коридору в другую сторону, сопровождаемая Ларисой Васильевной, трусящей сзади и виновато лепетавшей:

- Кто бы мог подумать... Лежачая... И ведь как все хорошо сегодня было! Батюшка приходил, окрестил ее... Она даже вставала, провожала его... Я, грешным делом, и подумала: не к добру это, бодрость такая. Так часто бывает: лежит-лежит и вдруг встанет... И в тот же день умирает... Это уж как закон... А потом нотариуса к ней водила... Подписывали там что-то, бумагу какую-то, не знаю...

Юля остановилась как вкопанная и глянула на медсестру как бы оледеневшими глазами. Рот ее хлопал, будто у засыпающей рыбы, губы долго не слушались, но, наконец, она одолела несколько слов:

- Как вы... сказали... Кого... водили?..

Лариса Васильевна уже испугалась, что сморозила лишнее, но не сумела вывернуться, и ей пришлось все честно выложить.

Несколько секунд после этого она простояла с зажмуренными глазами, потому что во время краткого рассказа ей показалось, что ее сейчас ударят – и не просто так, а может быть, даже насмерть. Но когда она решилась посмотреть, то сумасшедшей посетительницы уже не было рядом, лишь слышно было, как, удаляясь по лестнице, быстро цокают ее каблук.

Постояв и покачав головой, Лариса Васильевна инстинктивно направилась в эпицентр взрыва – пустую палату. Там уже горел яркий свет, и у двери, прислонившись спиной к косяку, стоял молодой онколог Юрий Юрьевич. Следующее, что увидела давно сбитая с толку медсестра, была наполовину пустая коробочка птифуров на полу, а рядом с ней на спине, подняв вверх четыре заочевенные скрюченные лапки, валялась омерзительная дохлая крыса...

Сестра прикрыла было рот ладонью, чтоб не вскрикнуть, но потом быстро вспомнила, что она медик и ей брезгливость выказывать не полагается. Чтобы оправдать свое невольное движение, она авторитетно изрекла:

- Обожралась и сдохла, – и храбро шагнула вперед, намереваясь поднять коробку.

- Не трогать!!! – вдруг барсом прыгнул к ней врач.

Лариса Васильевна отшатнулась, второй раз за эту ночь смертельно испугавшись. Доктор выпрямился, обернулся к ней. Было заметно, что он дрожит самой настоящей «крупной дрожью» и изо всех сил старается как-то придать своему срывающемуся голосу подобающее врачу хладнокровие:

- Лариса Васильевна. Крыса – не может. Не может «обожраться и сдохнуть». Это не то животное. И потом, – он нагнулся, приглашая сестру сделать то же самое, – взгляните... На пасть – взгляните...

Она вгляделась и заметила, что оскаленная пасть мертвого зверька полна черной свернувшейся крови...

- О, Господи... – прошептала Лариса Васильевна,

- Она околела от чего угодно – но не от обжорства... – тоже перейдя на шепот,

подытожил врач.

Некоторое время они молча стояли посреди ярко освещенной палаты – пока по коридору не зашныряли проснувшиеся от непривычной суеты больные, все норовя заглянуть в приоткрытую дверь. Все думали об одном: еще кто-то умер...

Юрий Юрьевич спохватился первым. Да он уж и оправился от шока

- Вот что, Лариса Васильевна. Закройте дверь и оставайтесь здесь, – (по ее лицу пробежала кислая гримаса), – и никого, кроме меня не впускайте. Ни-ко-го, поняли?

С тех пор, как в клинике появились платные палаты и услуги, медперсоналу приходилось не единожды сталкиваться с милицией – пару раз вызывали, а чаще – сама приходила: клиенты периодически попадались с криминальным оттенком, иногда становясь жертвами родных мафий прямо будучи на излечении...

Поэтому номер районного отделения Юрий Юрьевич набрал на память и, по счастью, сразу попал на знакомого дежурного. Обменялись приветствиями. И, задыхаясь от дотоле неизвестной гордости, будущее медицинское светило поведало в трубку:

- Слушай, Сань, тут у нас такие дела творятся...

Ирина даже не думала о том, что выбраться ночью из старательно охраняемой клиники может оказаться делом трудным. Она просто шла и шла вперед – по лестнице, по коридору, потом заблудилась и некоторое время мыкалась между двумя слабо освещенными вестибюлями и, наконец, наугад попала в приемный покой. Там она еще немножко поплутала среди каких-то проходных кабинетов, в каждом из которых имелось по кушетке, застеленной ярко-оранжевой клеенкой, и вдруг сообразила, почему эти кабинеты проходные: с одной стороны, еще «с воли», человек попадал в некое чистилище, где с ним проделывали неведомые и страшные манипуляции, а потом обратного пути уже не существовало. Через другую дверь человека уводили или увозили в недра клиники – преисподней, конечно, со всеми атрибутами... Не предполагала Ирина и того, что может где-то утратить последние силы и упасть: она твердо знала, что сил хватит ровно на задуманное – не больше, не меньше. Более того, с каждым дерзким шагом она словно укреплялась телом. Оно слушалось гораздо охотнее, чем не то что днем, но даже только что, в палате.

Беглица попала в странное помещение, огороженное кругом стеклянными перегородками с нумерованными окошечками, как на почте. В одном из окошечек сиротливо торчал понурый белый колпак, никак не прореагировавший на Ирину тихое появление. Зато встрепенулся, оторвавшись от яркого журнала, охранник в черной униформе и лениво спросил:

- Куда?

- Туда, – твердо ответила Ирина, направляясь к выходу.

- А-а, – понял, наверное, охранник и опять углубился в увлекательное чтение: ему было велено «не впускать», а насчет «не выпускать», очевидно, ничего не указывалось.

Так больная оказалась на свободе. От свежего ночного воздуха сразу легко закружилась голова, как от новой порции наркотика. Вход находился на возвышении, вниз вел пологий пандус – для удобства въезда машин, конечно, – но Ирине показалось, что лучше б были ступени. Спускаться по пандусу пришлось с большой опаской: все как-то не удавалось соразмерить длину шага. Появился даже смутный страх как-нибудь неудачно превысить скорость движения и глупо разогнаться, как в детстве с незалитой горки. Но все обошлось, и вскоре Ирина неторопливо шла по ровному асфальту к железным воротам. В будке у ворот тоже дремал охранник; он проводил женщину мутным взглядом, пришел к выводу, что она навряд ли заложила бомбу, и потому вновь безмятежно опустил тяжелую голову на стол. Теперь нужно было как-то добраться до намеченной цели, да и время поджимало: справа, от невидимой за домами церкви, уже всюду летел призывный трезвон...

Даже в том приподнятом состоянии духа, в каком находилась Ирина, она сообразила, что уповать на общественный транспорт – безумие. Потому, выбравшись на магистраль,

где уже начинало спадать вечернее оживление, она подняла руку и так застыла.

Пару раз происходили забавные казусы: перед ней с готовностью тормозили иномарки – одинокие обладатели их, вероятно, принимали в потемках Ирину с ее тонкой фигуркой, за юную девицу, неосторожно голосующую на пустеющей улице. При ближайшем рассмотрении они, не тратя времени даже на переговоры, обиженно уносились в пасхальную ночь. На третий раз повезло: остановилась скромная заляпанная «лада» и усатый Иринин ровесник приоткрыл дверь:

- Вам куда, бабуля?

В ее протянутой желтой руке он сразу углядел развернутую сотенную долларовую бумажку и потому без лишних разговоров кивнул. Пассажирка назвала отдаленную, но известную церковь добавив «Только скорее», – и машина рванула с места ретивей «мерседеса».

Водитель гнал, как мог, но на странную старушку все-таки косил глазом, охваченный ужасными мыслями: «А ну, как доллары ее – фальшивые? Иди рассматривай, в темноте-то! Впрочем, есть признак почти что верный: пиджак у мужика должен быть наощупь в рубчик. А если нет? Не стукнешь же этот одуванчик со злости по макушке – еще коньки откинет...».

- Не беспокойтесь, доллары мои настоящие, – тихо сказала пассажирка.

«Еще и мысли читает. Ведьма, что ли?»

- Да что вы, бабушка, я и не думал...

- Думали, думали... Но неужели ж я нехристь какой – в Светлую ночь ближнего обирать?

- Христос воскрес! – нашелся водитель.

- Ш-ш-ш... – старуха обернулась к нему с загадочной полуулыбкой. – Еще десять минут...

- Успеет, бабка! – вдруг разволновался он. – Вот сейчас проходными двориками скосим – и успеем!

Машина круто свернула в ближайшую темную, как разинутая пасть, подворотню – и запетляла по глубоким дворам-колодцам, где и пешему-то человеку можно от безысходности заночевать. Но водила, очевидно, хорошо знал и свое дело, и тайны странного города, потому что «лада» очень быстро выскочила на маленькую площадку, окруженную липами, со скромной одноглавой церквушкой посередине.

Они успели вовремя: в распахнутых воротах церковной ограды как раз покачивались хоругви, блестели серебряные облачения, а за ними угадывалось волнующее бурление пока притихшей толпы, и один за другим вспыхивали крошечные язычки зажигаемых свечек — выходил пасхальный крестный ход.

Спасибо, – Ирина совала водителю честно заработанный им столярник. Рука его дернулась было в хватательном движении, но вдруг упала.

- Да не надо мне, бабка, твоих денег, – сдавленно пробормотал он. – Чего уж там, праздник-то какой...

Теперь Ирина не торопилась. Стоя смирно, она пропустила мимо духовенство, успев разглядеть немного грустного о. Димитрия, обеими руками поддерживавшего свою блистающую фелонь; кучкой прошедший хор, состоявший сплошь из светлоликих дев, – и только тогда незаметно влилась в бесконечный поток охваченных радостным нетерпением верующих.

Влилась и пошла вместе с ними, лишь через несколько минут осознав, что кругом поют. Ирина прислушалась. Пропели одно и то же раз, другой, третий – она пыталась с лету запомнить слова. Но, когда открыла рот, чтоб попробовать на четвертый раз спеть вместе со всеми, то вдруг яркая боль обожгла ей руку, а рядом началась мелкая суэта: это у кого-то вспыхнула пластиковая бутылка, в которой несли свечу, оберегая ее от ветра, и расплавленный пластик, не попав более ни на кого, капнул на руку именно Ирине. Она инстинктивно отерла обожженную руку о плащ, чем добилась того, что содрала застывшую каплю вместе с кожей. Посмотрела: на правой кисти горела овальная красная

рана. Кругом извинялись. Люди, обычно сплавиваемые общей идеей, становясь при этом добрее к ее носителям, едва ли не предлагали первую помощь на месте.

Ирина старалась уловить смысл их слов – но вдруг поняла, что сделать этого не может: голоса не просто сливались, а вдруг утратили свое значение. Она не понимала, что ей говорят, поэтому невольно притормозила – и поток с готовностью унес вперед сочувствующих, кругом оказались совсем другие, быстро текущие мимо лица. Тогда она тоже тронулась с места и запела: «Воскресение Твое, Христе Спасе, ангелы поют на небеси...». Сначала Ирина искренне верила, что поет, лишь потом сообразила, что только открывает рот, откуда вырываются сильные, невнятные, решительно ни с чем не сообразные звуки. Более того, нечто начало происходить с телом: оно теряло чувствительность. Ноги ощущались как отмороженные: они, определенно, были, передвигались, почти слушались – но казались какими-то отдельными, слишком самостоятельными. Ирина поднесла руку к лицу. Она видела, что делает именно это, но не почувствовала ни руки, ни лица. Изнутри поднялась и опала, на миг заслонив собою мир, ледяная черная волна...

Крестный ход тек мимо, плавно огибая умирающую, которая все-таки силилась медленно двигаться. То, что происходило с Ириной, вовсе не напоминало ее болезнь с сопутствующими симптомами; она старалась не обдумывать, потому что в глубине души знала, что это: смерть. Но крестный ход уже втягивался в ворота, толпа запрудила все пространство перед папертью, священники взошли по ступеням, развернулись лицом к пастве перед закрытыми дверями. Ирина тоже, пробралась за ограду, прислонилась к ней спиной уже без мыслей, угасая – и вдруг кругом стройно грянуло: «Воистину воскрес!»

Она вздрогнула и во второй раз сумела выкрикнуть вместе со всеми:

- Воистину воскрес! – но обнаружила, что слова ее звучат иначе, чем чужие – более значимо, что ли...

Потом кричали еще и еще. Открылись двери, в них сразу образовалась пробка; кто-то подхватил Ирину под руку со словами: «Не зевайте, матушка, а то затопчут», и буквально внес ее в церковь, а она при этом не знала, касается ли ногами земли... Позже Ирину сажали в уголке на скамейку, шугая оттуда успешную разместиться с комфортом молодежь – и там оставили.

Раньше, в клинике, зная умом, что положение ее безнадежно, Ирина пыталась представить себе минуты, когда действительно станет умирать. Как это будет? Оглушенная наркотиками, она просто заснет и не проснется? Или, наоборот, находясь в сознании, увидит, как медленно потухает вокруг свет, ускользает сознание, сплываюются мысли? А может (об этом думалось с усмешкой), в ногах постели встанет некое существо, протянет руку, она отделится от самой себя и последует за ним туда, где все-таки нет тьмы? Или ее затянет в банальную черную воронку, о которой столько написано?

Но никуда не затягивало, никто подозрительный не являлся, свет не гас. Наоборот, постепенно теряя чувство тела, Ирина чувствовала, как обостряется восприятие, ярчают, а не меркнут окружающие краски, отчетливей и объемней становятся звуки. Она слышала и могла выделить каждое слово хора, хотя раньше, когда из любопытства заглядывала в церковь, пение сливалось для нее почти в музыку, давая возможность разобрать только «Господи, помилуй».

Молиться Ирина не умела вовсе, лишь наспех обученная о. Димитрием «Отче наш» и Архангельскому обрадованию, и теперь только могла шептать иногда «Воистину воскрес...» – причем голос свой слышала будто со стороны. Наконец, все спуталось совсем. Появлялись и исчезали священники, люди кругом крестились, кланялись, потихоньку переминались, и в какой-то момент Ирина четко увидела границу, внезапно пролегшую между ними и ею – они явно находились где-то в другом месте! Какое-то время она пыталась в этом разобраться, но потом бросила.

Шли минуты, часы, но Ирина не понимала этого – до той поры, когда из Царских врат показались два священника с золотыми чашами в руках, и один из них был о. Димитрий... Тут Ирина вернулась сама в себя и осмысленно огляделась. Она сообразила, что сейчас

начнется причастие, но вместе с тем знала, что к Чаше подойти уже не сможет. И тогда она взмолилась впервые в жизни, двумя словами – «Господи, дай!» – и не пыталась вникнуть в собственные слова, решив, что Бог, уж наверно, разберется и так.

- Господи, дай... – повторила она шепотом и услышала рядом будто знакомый голос:
- Что, матушка, притомились совсем? А ну-ка, пойдёмте, остороженько, вот та-ак...

И молодой человек, вроде бы тот самый, что еще раньше втащил Ирину в церковь (и которого она как будто видела и прежде, до всего, и даже совсем недавно по какому-то поводу вспоминала) легко поднял теперь ее на ноги и повлек к о. Димитрию, оказавшемуся с Чашей ближе. Она перебирала ногами, но всем телом повисла у парня на руках. Он не повел ее в очередь, а доставил кратчайшим путем прямо к Чаше, отодвинул спиной очередного причастника и шепнул:

- Имя, имя говорите...

Но этого не потребовалось: о. Димитрий, почуяв заминку, вскинул глаза. И Чаша, и лжица явственно задрожали в его руках. Какой-то миг он думал, что обознался. Потом, забыв торжественность момента, хотел что-то сказать, не смог и взял себя в руки:

- Причащается раба Божия Ирина во оставление грехов ея и в жизнь вечную.

Продолжая поддерживать больную, юноша причастился сам и двинулся с ней дальше, чтоб напоить. Руки ее, скрещенные на груди, так и остались, не опускаясь более. Исправно выполнив все положенное, он повел Ирину обратно – туда, откуда взял. Место уже было занято, но, завидя приближавшихся, люди вскочили с испуганной готовностью.

- Вот так, матушка, вот и ладненько, со святым вас причастием...
- Карман... – вдруг прошептала она. – В кармане...

Озадаченный паренек нагнулся к ее широкому накладному карману и извлек оттуда небольшую тетрадку. Думая, что больная ее требует, стал совать к скрещенным рукам, но она не брала, шептала:

- Листок... Ключи...

Он перелистал тетрадку, нашел пополам сложенный лист бумаги, посмелее выудил из того же кармана связку ключей и вопросительно глянул на женщину. Она ничего не говорила, смотрела мимо. Молодой человек проследил за взглядом и убедился, что он упирается прямо в о. Димитрия.

- Ему отдать? – догадался он, и увидел, что веки умирающей опустились.
- Хорошо-хорошо, сидите-сидите, – засуетился парень и, забрав все, стал пробираться вперед толпы с целью дожидаться о. Димитрия.

Ирина осталась одна, и ей удалось еще раз открыть глаза. Она смотрела куда-то выше Царских врат, успела подивиться тому, что видит там какое-то раньше незамеченное движение – и вдруг ей почудилось, что она начала стремительно приближаться туда...

Женщина, сидевшая на лавке по соседству с Ириной, с умилением смотрела на совсем желтую старушку. Скрестив руки на груди и плотно закрыв глаза, старушка улыбалась. «Вот как молиться-то надо, не то что я, грешница!» – укорила себя женщина, но тут увидела, что старая богомолка качнулась вбок и привалилась головой к стене, глухо стукнувшись о нее.

- Мамаша... – обеспокоенно дотронулась она до сухой руки – и отпрянула: рука была намного холодней, чем ее собственная.

Женщина беспомощно оглянулась вокруг, порывисто вскочила, уронив сумку на пол.

- У... умерла... – сказала она сначала тихо, но потом, обводя всех блуждающим взглядом, стала повторять громче и громче: – Умерла! Она умерла! Люди, умерла женщина! Умерла! Умерла

Вадик и Юля бестолково носились в машине вокруг больницы.

- Не могла далеко уйти, не могла... – твердила Юля, дико озираясь по сторонам.
- Да, а куда она, по-твоему, подевалась?! – рычал ее супруг. – Ты соображаешь, во что мы влипли?!

- Соображаю, не дура! – огрызнулась Юля, но тут же успокоительно дотронулась до его руки на руле. – Ничто еще не потеряно. Здесь где-то бродит. Может, перед смертью мозги отшибло. Найдем, куда она денется!

- Да-а... – плаксиво скривив губы, заныл Вадик, – Найдем, найдем... А нотариус у нее что сегодня делал? А если вдруг окочурится на улице, ее в морг и – вскрыют? Ой, мама, мама, мамочка моя-а... И поп еще какой-то, говоришь...

- Спокойно, спокойно, – заклинала жена. – Найдем. Если и переписала завещание (старая сволочь), копию заберем, а нотариуса купим. Сунем что-нибудь из ее побрякушек – и нет завещания... У каждого человека своя цена имеется, сам знаешь... А если и заберут в морг – мы ее раньше все равно отыщем. До вскрытия не допустим, предъявим документы, что она из ракового, да и сами – врачи, не забывай... Обойдется. А поп... – вдруг она сразмаху хлопнула себя ладонью по лбу, словно убивая комара, и крикнула: – Вадька, поворачивай к церкви! Он к ней таскался, врелигию обратил, а сегодня – Пасха!!! Она вполне могла... В какую, в какую, в ближайшую, вон колокольня торчит!!!

Они выпрыгнули из машины у собора в то время, когда крестный ход как раз растянулся по всей улице.

- Здесь она, ищи, смотри!!!

Вадик и Юля ворвались в праздничную толпу и стали яростно продираться сквозь нее в обратном направлении, толкая и пиная народ. Уже не скрываясь, не обращая ни на что внимания. Они перекрикивались, как в лесу, боясь еще и потерять друг друга в суматохе:

- Вон, вон, не она?!

- Нет, у нее плащ мой, коричневый!

- А там, смотри!

- А ну-ка... Нет, другая, похожа просто!

- Куда прешь, болван, не видишь – люди... Здесь ничего не разобрать!

- Сама знаю! Все равно ищи!

- Там уже кончается! Нету!

- Просмотрели, что ли?! Здесь голову потеряешь, не то что тетку!

- Вон еще какая-то! Не она?!

- Нет! Слушай, а когда она помереть-то должна, если точно?!

- Часам к двум, может, к трем! Ни лешего не вижу, темно!

- Все равно, все уже прошли – не было ее здесь!

- Да куда она делась, наконец?!

- Ладно, давай опять в машину, покрутим еще!

И, пока не начало светать по-настоящему, они все петляли и петляли в своей «копейке» по улицам и переулкам, судорожно вглядываясь в одинокие человеческие фигуры, и отчаянно ругались, не выбирая слов. Заехали на всякий случай к теткинному дому. Свет в окнах не горел, но для проформы они еще долго трезвонили у немой железной двери...

Только в шести часам утра, издерганные, вконец озверевшие и усталые, добрались супруги к себе домой. Юля сразу принялась названивать в клинику, нарвавшись на Юрия Юрьевича. Но он заговорил непривычно холодно, с противными официальными нотками в голосе:

- Вам бы лучше самой приехать, Юлия Владимировна...

От нервного напряжения она непритворно разрыдалась:

- Господи, что же это?! Что же это такое, Господи! Да, конечно, приеду сейчас, только в порядок себя приведу...

Положив трубку, Юля медленно осела в кресло. Запустив пальцы в волосы, по комнате метался со стонами Вадик...

Именно в эти ужасные минуты из коридора деликатно появилась с приветливым «Мя...» два дня не кормленная Зайка. Мелко и нерешительно перебирая пушистыми лапками, кошка двинулась вперед, лелея, очевидно, несбыточную мечту – вымолить хоть

кусочек черного хлеба: последние дни она питалась исключительно тем, что удавалось отыскать в неопрятном помойном ведре. Заметив ее, Вадик замер посередине комнаты, впившись в зверька остановившимся взглядом. Выпрямилась в кресле Юля. Застыв, оба они уставились на Зайку – а она, инстинктом учуяв недоброе, подобралась, намереваясь улизнуть.

- Хватай! Не пускай! – взвизгнула вдруг Юля на такойвысокой ноте, что несчастная кошка припала к полу, отчаянно прижав уши и затравлено озираясь.

Одним прыжком Вадик подскочил и поднял за шкурку парализованное первобытным страхом животное. Он размахнулся с явным намерением швырнуть кошку головой о стенку, но был остановлен совсем тихим, каким-то не естественным голосом своей жены:

- Не-ет...

Он остановился, взгляд блуждал. Неспешно, как львица к добыче, Юля приблизилась к мужу и, увидев бледную улыбку на ее лице, Вадик на мгновение похолодел. Кошка слабо и тонко простонала. Подойдя, Юля погладила ее, с той же ужасной улыбкой поглядела на мужа и чуть ли не интимно шепнула:

- Не так... Не будет ей такой легкой смерти...

Она очень спокойно отобрала Зайку от Вадика, почти ласково взяла ее на руки и, продолжая поглаживать ослабевшую от переживаний кошку, проговорила тем же голосом:

- На кухне... Сечка... В нижнем ящике...

И на лице Вадика появилась, будто отразившись в зеркале, точно такая же улыбка...

С Зайкой на руках Юля медленно шла по коридору к ванной; из кухни возник Вадик со страшным предметом в руках. Это было нечто вроде небольшой остро заточенной полукруглой лопаты. Супруги зашли в ванную и тщательно заперли за собой дверь, будто в отдельной квартире кто-то мог застигнуть их на месте преступления.

- Воду включи, – сказала Юля, крепко перехватывая кошку за шкурку.

Увидев хлынувшую из крана воду, Зайка вообразила, наверное, что ей предстоит самое ужасное, что только можно придумать: ее сейчас будут мыть! Как и многие кошки, она панически боялась воды и, чтоб не быть мытой слишком уж часто, ежедневно с головы до лап вылизывалась сама – и все равно не избегала у прежней хозяйки горькой участи. Раз в три месяца Ирина неумолимо мыла ее шампунем, всегда, правда, после этой пытки угощая любимицу сырым, мелко нарезанным мясом. Но эти люди мяса ей никогда не давали, и у Зайки не было оснований предположить, что сегодня они вдруг чудесно переменятся. Поэтому, решив защищаться до последнего, она собрала все свои силенки и – рванулась.

От неожиданности Юля выпустила ее из рук, и тотчас же все кошачьи когти впились в ее тело сквозь платье. Завопив, Юля отпрянула, отчего когти проехали по ней, глубоко бороздя кожу и мясо...

- А-а!!! Гадина!!! Держи!!!

Вадик начал махать руками, стремясь поймать мечущегося в панике зверька, но, тоже отведав когтей, взвыл и нечаянно сокрушил стеклянную полочку с Юлиными духами и притираниями. Среди звона, треска, мата, своих и кошачьих истошных криков бились муж и жена в крошечном помещении, пытаясь схватить обезумевшее и оттого втройне увертливое животное.

Наконец, издав трубный звук разъяренного слона, Вадик сорвал Зайку в ванну вместе с клеенчатой занавеской, на которой она было повисла. Кошка запуталась в занавеске и с воплями барахталась в ней... Издавая очень похожие звуки, Вадик прижимал ее изо всех сил ко дну ванны, где хлестала и брызгалась мощная струя воды.

- Сечка! – опомнилась Юля, пихая мужу орудие убийства.

- Не могу, бьется!! – отозвался он.

- Р-руки... – прохрипела женщина и сама, размахнувшись, нанесла первый удар по куче клеенки, удачно не попав супругу по пальцам, – он едва их отдернул.

Из разрубленной клеенки брызнул вверх яркий фонтан крови, раздался

душераздирающий, не кошачий и вообще ничей на земле вой, – и Юля рубанула еще раз. Кровь начала заливать ванну, но ее сразу смывало и уносило в водоворот стока...

- Теперь ты, хирург.

Поочередно, уже без слов, только тяжело дыша и отплеываясь от попадавшей в лица крови, супруги рубили и рубили неподвижное и безмолвное месиво из клеенки, костей, окровавленной шерсти и блестящих внутренностей. Молча передавали друг другу сечку и продолжали свою работу без отдыха, оскалив зубастые рты и сощуриив невидящие глаза...

Когда рубить стало уже нечего, и металл начал крушить металл, Вадик швырнул сечку в ванную и оперся о борт руками. Рядом в такой же позе, глядя в изодранную стенку, стояла его жена. Муж пришел в себя первым. Он обвел глазами помещение, что-то натужно соображая, и вдруг тихо спросил:

- Юля... А коробка с птифурами... Она где?

Это, собственно, всё. Завещание я только что переписала на Ваше имя. Но мой Вам совет: немедленно вывозите из квартиры все, что можно вывезти, иначе, если придет агент и оценит там находящееся, то Вам никогда не хватит денег, чтобы оплатить госпошлину. Ключи прилагаю, номер сигнализации и телефон, по которому надо позвонить, чтобы ее отключили, припишу ниже. Достаивайте Вашу церковь с Богом и постарайтесь, чтобы она была... Ну, вам лучше знать, какой она должна быть. От Вас прошу немногого: похороните меня по-христиански, а потом могилу можете даже позабыть: мне все равно.

Но не тешьте уж очень свое самолюбие. Не Вы, о. Димитрий, обратили меня в Православную веру – Вы только довершили ранее начатое Другим. Умом я давно уж была согласна – потому что у меня есть еще голова на плечах, а на ней – глаза и уши, которыми я видела и слышала много дивного.

Однажды, много лет назад, я гуляла одна по пустынному пляжу, в дурную погоду, вечером. И вдруг откуда-то послышалось пение. Пильный тенор доносился со стороны деревьев, окружавших пляж. Прислушалась и различила фразу, единственную – теперь я думаю, что это был псалом: «Приступите к нему и просветитесь, и лица ваши не постыдятся...». Удивленная, пошла на голос. Он свободно летел над холодным песком, над серым неприветливым морем. И что я увидела? Я увидела человека, залезшего на раскидистую ветлу. Человек полусидел в ветвях и пел псалом, думая, что находится в полном одиночестве. «Это что ж должна быть за вера, чтобы изливать ее – вот так? – в замешательстве подумала я. – И есть ли у меня в душе хоть что-нибудь такое, о чем хотелось бы, влезши на дерево, простодушно сообщить неодоушевленному миру?». У меня не было ничего подобного, и поэтому я тихонько убралась прочь, но долго еще слышала за спиной эту торжественную песнь. О, я знаю, что слава Господа вопиет от каждой твари в мироздании, даже от тех, кто, казалось бы, глух, нем и непробиваем...

В другой раз я стояла за картошкой на улице. Дело было утром, и у присоседившегося пивного ларька выстроилась длинная понурая очередь страдавших синдромом похмелья. В очереди находилась пара – не то муж с женой, не то сожители. Они, очевидно, всю ночь не только пили, но и деятельно выясняли отношения: опухшие лица (лучше бы сказать – хари) у обоих были покрыты свежими ссадинами и синяками; они еле держались на ногах, были ужасающе грязны и растрепанны, говорили хриплыми то ли от водки, то ли от сифилиса голосами – словом, колоритная семейка. Вдруг женщина куда-то исчезла. Супруг ее успел получить четыре кружки пива, ловко подхватил их и теперь стоял в стороне в нетерпеливом ожидании. Он и выпил бы в одиночестве – да никак: держа четыре кружки и пытаясь из какой-нибудь пить, неминуемо прольешь.

Жена появилась, но не одна. На руках она держала месячного кобелька, щенка настоящей немецкой овчарки. Супруги быстро расправились с половиной имевшегося пива и, держа в руках каждый по второй кружке, решили остаток просмаковать с удобствами, для чего расположились на ящиках неподалеку от меня (сонной и с авоськой).

Волей-неволей я стала слушательницей их необычайного разговора.

- Мань, а откуда у тебя этот кобель? – спросил мужчина, прихлебывая.

- А Васька подарил, У него евойная сука месяц, как оценилась, – пояснила женщина.

- И чего ты делать-то с ним будешь? Разве Светке отдать за «маленькую»?

Очень естественным, как мать свое дитя, движением, Маня быстро прижала щенка к себе:

- Я его оставлю, Митя. И буду его это... воспитывать.

- Че-го?! – изумился Митя. – Ты – воспитывать?!

- Ну, я... А чо, нельзя, что ли?

- Воспитаешь ты его, ага... Голодом заморишь, а не воспитаешь. Самой на пузырь никогда не хватает, а тут она кобеля здорового мясом кормить будет. Сдохнет он у тебя.

- Ну, сдохнет и сдохнет. Мой кобель, а не твой, – и Маня продемонстрировала Мите длинный, нездорово белый язык.

Митя неторопливо поставил недопитую кружку рядом с собой и обернулся к собутыльнице. Уж как там он на свою Маню посмотрел, я не знаю, но только кружка в ее руке задрожала, она крепче прижала к себе своего «кобелька» и пискнула:

- Ты чего, Мить, спятил?

И он заговорил – заговорил угрожающе, с жестоким напором, все ближе и ближе наклоняясь к женщине – а она все отстранялась, явно испуганная.

- Ты, Маня, это брось. Ты, Маня, собаку иди обратно Ваське отдай. Потому что все это не просто так, а ты теперь за этого кобеля – отвечаешь.

- Как это... Перед кем это... – пробормотала удивленная и вконец оробевшая Маня.

- Перед Богом, дура! – рявкнул Митя и, сначала грохнув кулаком по ящику, вслед за тем воздел указательный перст к небесам: – Там ответишь!

- Г-где?.. Ч-чего?.. – совсем растерялась она.

Мужчина заговорил спокойней, но так же веско и отчетливо:

- Вот помрешь ты, Маня, а потом будет Страшный Суд. И спросит тебя Бог: «Куда ты, Мария, пса дела, которого тебе Василий дал?». И что ты Ему ответишь? Ответишь – я-де, Господи, голодом его заморила, да? Так ответишь? И пойдешь ты Маня, за это в геенну огненную. Потому как, раз Бог тебе кого доверил – соблудности должна. А если нет...

- Я поняла, – быстро перебила опешившая Маня. – Всё, поняла я. Пошла к Ваське, – и, сунув в руки мужу свою еще почти полную кружку, вскочила и вмиг скрылась за ларьками.

Поглядев ей вслед, Митя задумчиво опрокинул в рот свое пиво, а потом, поколебавшись секунду, и Манино – и пошел сдавать пустые кружки.

Больше их обеих я не видела, но подумала серьезно: «Вот он – пьянь, голь – а ведь соображает там что-то... А я, интеллигентный человек, образованный, начитанный – все гоню и гоню от себя прочь это самое соображение...».

То Господь меня второй раз к Себе позвал. Я слышала, не думайте, я просто долго шла.

Но в сердце своем я уверовала в другой день, через несколько лет, на перекрестке двух дорог, под трехсотлетним дубом.

Ехала я в гости с коллегой в деревенский дом ее родителей – случались в моей жизни, знаете, такие мимолетные приятельницы – не совсем же драконом в пещере я эту жизнь прожила. Так вот, тряслись мы с ней в загородном автобусе – сейчас такие уже не ходят – круглом, душном, вонючем, зато с очень мягкими сиденьями. Жарко было, на душе противно, я раскаивалась, что поехала, пребывала в самом скверном настроении, говорить ни о чем не хотелось. И тут на одной остановке – и остановкой это не назовешь, так, условное место – влез в автобус веселый румяный паренек. Влез – и через пять минут со всеми пассажирами перезнакомился – такой был открытый и общительный. Да и счастье из него, простите, просто перло – другого слова нет: он ехал в родную деревню жениться. Через четверть часа весь автобус знал, что зовут его Анатолием, он только что получил диплом агронома, сосватал (так и сказал) себе красавицу-невесту из соседнего

двора, всю жизнь рядом росли. Свадьба завтра, а он вот из города возвращается: ездил специально за подарками суженой и всей родне, Показал поочередно и подарки (безвкусные и неуклюжие), угощал всех конфетами («Да берите больше, у меня еще есть»), демонстрировал фотографии, которых таскал с собой целую пачку («Вот это мы с Катей, вот это Катя у своей калитки, вот это Катя со своей короной, а это наша школа, а там и я стою»). Весь он бурлил радостью, и была она так чрезмерна, что ею необходимо было поделиться, ошастливать всех, задарить, не разбираясь – может, кто едет на похороны, И Анатолию это удалось: спекшийся было коллектив понемногу ожил, заулыбался. Стали шутить, задавать вопросы...

В конце концов еле отговорили паренька приглашать на свадьбу весь автобус скопом – он чуть не обиделся. Фотографии шли по рукам, без стеснения елись конфеты – хорошо было... Пока автобус не остановился у того перекрестка. Анатолию, нам с коллегой, и еще нескольким пассажирам нужно было выходить и ждать другой автобус. Так мы и сделали. С отъезжавшими парень едва ли не перецеловался. Причем, выпивши он не был – я точно знаю – это счастье его так пьянило, что на время повредился человек в рассудке...

В ожидании своего номера все мы, спасаясь от жары, разместились под огромным невозмутимым дубом. Многие из его ветвей уже умерли, торчали голые, серые и страшные...

- Говорят, триста лет стоит, Петра Первого помнит! – поделился Анатолий.

Он опять смеялся, болтал, пихал нам в руки какое-то новое угощение, и уж веселенький зеленый автобус замаячил точкой на горизонте, как вдруг...

Никто не успел ничего понять. Раздался треск, удар и короткий крик. Все вскочили. Анатолий, вытнувшись, лежал на земле. С дуба отломился большой мертвый сук и острым концом попал ему точно в висок, оставив только маленькую ссадинку – почти без крови. Но паренек был убит на полуслове – даже погасшие глаза еще неуловимо улыбались...

Все это я видела сама – понимаете?

Я еще считала себя неверующей, но в то время, как кругом кричали, суетились, сетовали на жестокость судьбы и даже грозили небу кулаком – я одна стояла в стороне и... молчала. Мне откуда-то дано было знать, что совершился акт абсолютной справедливости – не жестокий, а, наоборот, милосердный. Помню, что удивилась этому знанию, но лишь на миг, а потом подумала: «Значит, точно есть Бог. Потому что, если бы не было – то после того, что мы все сейчас здесь видели, нам необходимо дружно пойти вон к той речке, привязать по камню на шею и утопиться...».

Не знаю, что ждало бы Анатолия, останься он в живых – тут полет фантазии ничем не ограничен, всевозможные ужасы так и приходят на ум. Вы скажете точнее: он, несомненно, погубил бы свою чистую душу. Но оставим сослагательное наклонение – это не наша область, не человеческая.

Писать мне невероятно тяжело, я делаю этого лежа, с перерывами, и почерк от этого, боюсь, самый неразборчивый. Но, главное, я ухитрилась дописать до конца.

Спасибо Вам, дорогой мой друг, батюшка Димитрий, прощайте, хотя, кто знает, может быть, мы с вами еще и увидимся.

Эпилог (прошел год)

Отец Димитрий казался очень взволнованным. Задавшись сверхценной идеей освятить храм до Пасхи и непременно служить в нем Светлую заутреню, он заставлял рабочих трудиться в три смены стахановскими темпами. На деньги не поспешил и лично контролировал работы, без меры суется на стройке. Он быстро научился по-хозяйски покрикивать, его черный подрясник мелькал то снизу, когда о. Димитрий давал указания ползавшим по стенам штукатурам, то с колокольни, откуда он, как с трибуны, распекал

рабочих, не слишком ретиво, по его мнению, вывозивших мусор, то внутри храма, где он путался под ногами художников, что-то авторитетно объясняя им про «колер». По сути дела, единственное, что получалось у о. Димитрия хорошо – это мешать и сбивать с толку. Он успел поссориться с главным инженером, а руководитель художественных работ откровенно от него бегал. Зато на храм, даже незаконченный, любо-дорого было взглянуть: словно грациозная белая птица, готовая вот-вот взлететь, он вышался на гладком зеленеющем холме, отражаясь свсжевызолоченным куполом в круглом озерце. Геометрически уродливые постройки как бы расступились вокруг на почтительное расстояние. Из них еще совсем недавно выбегала толпа жильцов и долго, сосредоточенно созерцала, как небольшой вертолет уже в десятый совершал заход над куполом, пытаясь доставить золоченый крест на заданное место, с одиннадцатой попытки усадил его удачно — и тогда в толпе послышались аплодисменты. Но внутри церкви возникли трудности: там было сделано двенадцать округлых ниш, в каждую из которых предполагалось поначалу поместить по иконе Св. Апостола, но что-то не задалось; выяснилось, что пишут не Апостолов, а мучеников разных времен, и даже уже готовы восемь.

О. Димитрий посетовал, сгоряча велел было переделать, но время поджало так, что он, махнув рукой, согласился:

- Что уж, пишите еще четыре...

И постом доставили три новые иконы.

- Четвертая – последняя – где?! — возопил о. Димитрий.

Но с иконой случилась беда: в мастерской при просушке ее – уронили, и не просто так, а на банку белил, которая разлилась при этом, безнадежно испортив самый лик.

- Переделывайте! – простонал о. Димитрий и получил ужасающий ответ:

- К Пасхе не успеем.

Долго искали компромиссный вариант, пока кто-то из иконописцев не подсказал:

- У моего знакомого в мастерской есть уже готовые иконы похожих размеров... Не знаю, может, даст какую...

- Хоть кого! – сокрушенно отозвался переволновавшийся настоятель и махнул рукой с таким видом, с каким говорят: «Пропадай всё!»

- Нервный какой-то батюшка стал... – покачала головой молоденькая художница, когда за о. Димитрием закрылась дверь.

- И вообще странный, – согласился ее муж. – Чем ближе к окончанию – тем мрачней становится. Казалось бы, радуйся, а он как туча стал!

А туча вплыла к себе домой и, не помолвившись, тяжело осела за накрытый к ужину стол.

Матушка Фотиния, пристрастившаяся за последнее время к вышиванию, подняла глаза от работы. Она исподволь внимательно изучала своего мужа, и некоторые признаки, наблюдаемые ею вот уже два последних месяца, казались весьма подозрительными. Светлане вовсе не нравилось появившееся и усугубившееся суетливое, едва ли не горячее поведение супруга на постройке храма, а уж то, как он вел себя дома, и вовсе напоминало состояние перманентной истерики. Ни с того ни с сего о. Димитрий бросал разные крупные и мелкие предметы через всю комнату (правда, всякий раз после этого виновато глядел на жену, особенно, если ущерб хозяйству наносился значительный), не по делу шпынял детей, хотя раньше бывал даже преувеличенно справедлив, толкал от себя полные тарелки постного борща, отчего на крахмальной скатерти оставались яркие, будто кровавые пятна, – словом, переменился Светланин муж в худшую сторону.

Она еще не хотела признаться себе в том, что видит, хотя именно такие клинические симптомы появлялись и раньше в моменты многочисленных душевных переломов ее Димочки. Приписывать это треволнениям, связанным со строительством, не приходилось: по мнению Светланы, все шло там настолько гладко, насколько вообще можно в наше время построить храм на частное пожертвование... Неурядицы с иконами в счет не шли; на днях о. Димитрий обмолвился, что новый вариант выглядит даже лучше прежнего.

Сердце матушки сжималось: «Что с ним такое?! Неужели – опять?!» – мучительно задавала она себе вопрос. За положительным ответом стояло многое и для нее лично: снова ускользала почва из-под ног у целой семьи, снова приходилось расставаться с налаженным существованием, возможно, на долгие годы, и, главное, рушился надежный, в который раз выпестованный мир...

О. Димитрий сидел за столом, раздвинув локтями приборы и поникнув своей большой, бестолковой, кудлатой головой. У Светланы задрожало лицо. Посмотрев на мужа, она безошибочно установила: то самое.

- Есть – не будешь? – зловеще спросила она.

Муж скорбно сморщился, и в комнате повисло гнетущее молчание.

Попадья решилась. Она собралась говорить твердо, спокойно, но не удержалась и с первых же слов сорвалась на крик:

- Ну, и что там у тебя опять?! Снова «промашечку дал»?! Или «ошибочка вышла»?!

- Широко, широко путь, ведущий в погибель, – похоронным голосом отозвался супруг.

- Та-ак... – резюмировала Светлана. – Значит, начинается... И что на этот раз не слава Богу?

- На узкий путь становиться надо, – гнул свое о. Димитрий.

- Чего тебе не хватает?! – заломила руки попадья. – Церковь, вон, строишь, все до копейки в нее вложил – детям даже, как я ни билась, гроша ломаного не дал, изверг, из того, что Ирина оставила... Ее спас от вечной гибели – а все неймется!

- Да не спас я ее – погуби-ил!! – взвыл о. Димитрий, вскакивая и воздевая руки к небесам, куда путь ему пока что преграждал потолок. – Завлек я ее... – он перегнулся через стол к жене и, словно сообщая ей по секрету жуткую тайну, перекосившись, шепнул: – В сергианскую секту...

- К-куда? — обомлела Светлана.

- Душу ее погубил... Навеки... – и о. Димитрий сокрушенно рухнул на стол поперек, давя посуду.

«Это еще ничего, это еще поправимо, – быстро решила попадья. – Только нужно срочно принимать меры...».

- И что же теперь? – с виду заинтересованно спросила она.

Ее муж встрепенулся, приподнялся и стал озираться знакомым блуждающим взглядом, постепенно озаряясь – точь-в-точь как раньше, когда принимал очередное судьбоносное решение, а потом вдохновенно забормотал:

- Был грех, что ж делать – замолим... Попутал бес... Но теперь уж точно на узкий путь встанем... В Истинную Православную церковь перейдем... А эту построил – и пусть... Пусть сергиане служат... Тьфу, то есть сквернодействуют... У них благодати нет, и все таинства их – суть сквернодействие... Мне священник один объяснил – из Истинной... Которую они, то есть сергиане, называют Катакомбной... Знаешь, в 28-м году Собор был? Знаешь? «Кочующий» назывался, потому что из города в город переезжал, большевики гоняли... Так вот, на том Соборе всем сергианам была – анафема. И все таинства их не считаются. Так что мы с тобой, Света, даже некрещеные, не то что невенчаные. Вот как – нехристи мы и во грехе живем. А Ирину, рабу Божию, я, грешник, соблазнил, Да еще и церковь сергианам на ее деньги построил... Да ты почитай, почитай, Света, там на столе у меня литература – сама поймешь... Тот священник их, отец Олег, сам мне все объяснил... Сан слагать мне надо, вот что...

- И что... В катакомбной служить будешь? – замирая от тоски, спросила Светлана.

О. Димитрий затряс головой:

- И-и...Какое... Если кто из сергианских священников к истинно-православным переходит, то ему уже нельзя никогда служить: это вроде как пятно на всю жизнь. Только простым прихожанином, чтоб до гроба отмаливать... Да ты читай, читай книги те, Светлана! Я тебе так, бегло объяснил, а там все подробно описано... Доказано... Не придерешься... Так что дело наше решенное... Что уж тянуть, хватит... Вот пойду завтра в епархию... И будем мы с тобой, Света...

Матушка Фотиния поднялась во весь свой дивный рост.

- Не будем, а будешь, – отчетливо произнесла она. – Потому что я – здесь остаюсь. В Русской Православной Церкви. А ты — иди, куда знаешь... Раскольник ты, вот кто.

О. Димитрий оторопел. Ему показалось, что и стул, и стол под ним вдруг потеряли равновесие. Никогда раньше и помыслить он не мог, что жена возьмет – и в чем-то с ним не согласится: ведь столько раз, не задавая ни единого вопроса, она безропотно поворачивала за ним в любую сторону, и он привык, что за его спиной всегда – надежный тыл, верная единомышленница и подруга... Он поднялся в свою очередь, но до жены явно не дотянул: даже без каблуков она была на полголовы выше.

- Что ты сказала? – растерянно пробубнил он. – Что ты сказала, повтори...

Супруги минуту стояли, разделенные обезображенным столом и бурно дышали, сверля друг друга взглядами.

- А то и сказала, – отдышавшись, ответила матушка. – Я остаюсь там, где есть. Ступай, куда тебе надо, но – без меня. Я сказала, а ты слышал, – она отчаянно искала какой-нибудь решающий аргумент, взгляд ее упал на красный угол, и она неторопливо, четко, с вызовом перекрестилась. – И тремя перстами крещусь, вот!

Светлана повернулась и неспешно, с достоинством вышла из комнаты, покинув там держащегося за сердце обмякшего мужа...

...Утром не то что шел дождь, а стояли в воздухе дрожащие холодные капли, оседая на одежде прохожих, быстро делали влажными их невыспавшиеся лица, насквозь пропитывали пальто, превращая их в мокрый ледяной компресс – и не было спасения от этой проклятушей мороси ни в плаще, ни под зонтом.

О. Димитрий, ни минуты не спавший ночью, исстрадавшийся, опустошенный, с ватой вместо мозгов и сосущей пустотой на месте сердца, брел с непокрытой головой к своей церкви.

«Сейчас приду и скажу... Приду и скажу...» – повторял он про себя, но что именно скажет – то в голове не выстраивалось. Он чувствовал себя почти убитым, растоптанным и поруганным. И кем?! Собственной женой. Он на ходу печально потряхивал мокрыми длинными волосами, даже постанывал – и так дополз вверх по холму до вчера только поставленной церковной ограды. Его явление сразу привлекло к себе восторженное внимание. Со всех сторон к нему бросились – «Благословите!» – и о. Димитрий рассеянно благословлял народ, при этом грустно озираясь. Он не сразу-то и вник в то, что ему настойчиво втолковывали, а когда понял – пришлось с тяжелым чувством плестись в храм. Выяснилось, что последнюю икону как раз доставили, даже повесить еще не успели.

- И как подошла идеально! – радовался главный художник. – Я-то думал, подгонять придется, морока целая, а она – гляди-кось! – как влитая! Крюки сейчас вобьем, да и повесим, всего и делов, слава Тебе, Господи!

Тоскливо взглянул о. Димитрий на прислоненную у ниши большую светлую икону. И о-тшатнулся. Начал было беспомощно оглядываться, и тут заметил прямо позади себя свою жену Светлану. Она стояла запыхавшаяся, простоволосая – всю дорогу бежала вслед за мужем в надежде успеть предотвратить что-то страшное, И вот – успела и собралась было, не теряя времени, приступить к делу, начав с чего-нибудь самого отчаянного – может быть, даже упасть прилюдно перед мужем на колени, но ничего этого не сделала, а стояла рядом с ним, потрясенно глядя мимо его затылка – на икону.

Вокруг них столпились в недоумении люди, переводя взгляд с иконы на батюшку с матушкой и обратно, все силясь понять, что же так невообразимо потрясло их.

- И... Ирина... – выдавила вдруг Светлана.

- Так точно. Святая мученица Ирина, – радостно подтвердил невзрачный мужичок с разноцветной бороденкой и шальными глазками – известный иконописец, подвижник и постник. – Только она одна в аккурат по размерам подошла. Вот и привез, возьмите Христа ради.

- С кого... С чего... писали? – срывающимся голосом спросила матушка.

- А с образочка, маленького такого, копию сделал. Бабка у меня Ирина была, Царствие ей Небесное. Всю жизнь тот образок в своей божнице держала. А как-то сошло на меня Божье вдохновение — я и скопировал. Давно уж в мастерской у меня стояла, все место себе ждала. Вот и дождалась, слава те, Господи! — охотно поделился веселый постник.

О. Димитрий отступил на шаг, прикрыл глаза. Постоял так несколько секунд, надеясь на невозможное: вот откроет их и убедится, что нет вовсе никакой схожести, а лишь было и спало бесовское наваждение. Зажмурившись крепче, для верности перекрестился и только после этого решился взглянуть еще раз.

Но ровно ничего не переменилось. С иконы святой мученицы по-прежнему смотрели на него строгие и пронизательные глаза покойной рабы Божьей, создательницы святого храма сего. Он глубоко вздохнул, даже легонько встряхнулся — и одновременно почувствовал, как словно взлетел с его плеч некто тяжелый, уловил, показалось ему, даже мгновенный шелест тугих перепончатых крыл — и все стихло. О. Димитрий стоял один — среди двух десятков гомонящих людей, смотрел, не отрываясь, на лик святой и не догадывался, что в это время светлело его собственное лицо.

- Понравилась икона батюшке — вон как любитесь...

- Пару крючков вбить — и всего делов...

- Сходство какое — даже страшно...

- Ну, теперь, Бог даст, на Пасху крестным ходом здесь пойдем...

Все это доносилось до о. Димитрия словно издалека. Он стоял не шевелясь, с каждой минутой чувствуя, как вскипает и растет в его душе огромная волна яркой радости, что затопляет, переливается через край и требует немедленно наделить ею всех и всё, той радости, которую видела и запомнила раба Божия Ирина, одна из прочих многих работников одиннадцатого часа.

2000 г.

Мартышкино